



# ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ

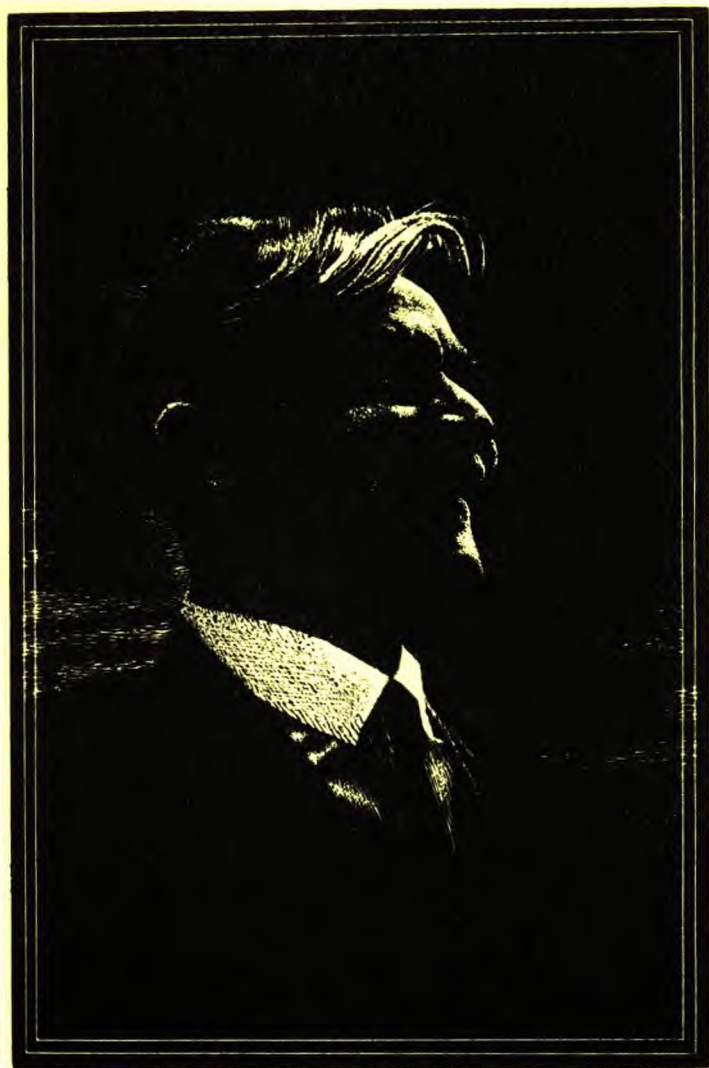
Александр Яшви  
в воспоминаниях  
сверстан





**Александр Яшин  
в воспоминаниях  
северян**





# ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ

Александр Яшин  
в воспоминаниях  
северян



Архангельск  
Северо-Западное  
книжное издательство  
1988

Составитель **В. А. Оботуров**  
Фотоальбом **В. К. Тарасовского**

Александр Яковлевич Яшин (1913—1968) прошел большой путь в литературе и всегда был тесно связан с отчим краем, с родным Севером. Писателя вспоминают А. Пшеничников, А. Павлов, В. Каплин — земляки-никольчане, Ф. Абрамов и В. Азаров (Ленинград), Н. Жернаков (Архангельск), вологжане В. Белов, А. Романов и другие. Их воспоминания создают живой облик писателя с его непростым характером, с его творческими и житейскими тревогами, с его неизбывной любовью к Родине. Открывают книгу автобиография писателя и «Лирический венок поэту и человеку».

**З-53      Земляки помнят:** Александр Яшин в воспоминаниях северян / [Сост. В. А. Оботуров; Фотоальбом В. К. Тарасовского].— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988.— 207 с.: ил.

К  $\frac{4702010200}{M157(03) - 88}$  12—88

83.3P7—8

ISBN 5-85560-011-4

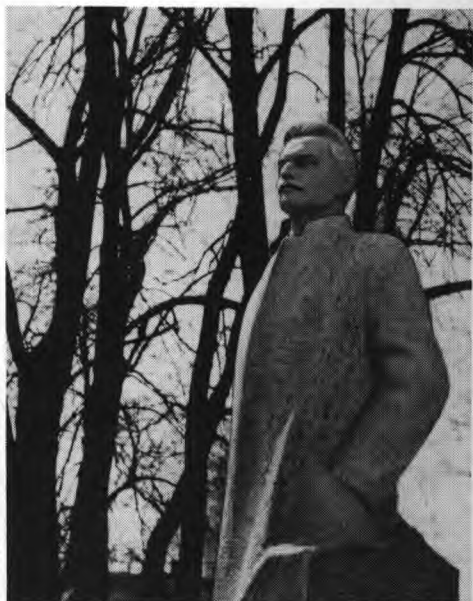
© Северо-Западное книжное издательство, 1988

Frederick L. Lumsden



Александр Яшин осенью 1966 года в Вологде





Памятник А. Я. Яшину работы скульптора М. В. Таратынова возле школы-интерната в г. Никольске

А. Я. Яшин в группе писателей перед поездкой по Волго-Балту в августе 1967 года





Александр Яшин (в верхнем ряду второй слева) на курсах  
Северного пединститута в 1932 году





Мать А. Я. Яшина Евдо-  
кия Григорьевна

Дом в деревне Блудново,  
в котором родился и рос  
Александр Яшин



В окрестностях деревни Блудново







Александр Яшин на рыбалке

В домике на Бобришном угоре





Александр Яшин и Василий Белов

Здание педагогического техникума в г. Никольске, где учился Александр Яшин. Ныне здесь размещается школа-интернат, в которой создан музей писателя





В последний путь от деревни Блудново на Бобришный угор  
А. Я. Яшина провожают земляки.



Памятник-надгробие на Бобришном угоре





## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Многие ныне живущие писатели старшего и среднего поколений хорошо знают А. Я. Яшина. Широко был круг его литературных связей и дружеских знакомств — Паустовский и Твардовский, Симонов и Залыгин, Боков и Солоухин, Наровчатов и многие другие. Собрать все свидетельства памяти — дело многотрудное, хлопотное, боюсь сказать — неподъемное. И в этой книге мы ограничились лишь тем, что могли предложить нам писатели-северяне, земляки Яшина, знавшие его как в юности, так и в зрелые годы.

Правда, сразу оговорюсь, что раздел «Лирический венок поэту и человеку» не замкнут в региональных рамках. Включенные в него стихи разных авторов не готовились специально для этой книги. Они были написаны в разные годы и рассеяны как в отдельных сборниках, так и в периодике. Впервые собранные воедино, эти стихи помогают ярче воссоздать поэтический образ А. Я. Яшина.

Воспоминания близких и знакомых А. Яшина не в равной степени отражают различные периоды жизни писателя и сами по себе неравнозначны. Но, по-моему, хорошо, что написаны они людьми очень непохожими, отличающимися своеобразием своих связей с писателем. Здесь и лирически взволнованное слово Василия Белова о Яшине и строгая документальность эпистолярного жанра у Александра Романова, бережно хранящего письма Александра Яковлевича. Здесь и непосредственность чувств Александра Пшеничникова, навеянных юношеской дружбой с будущим писателем, и бескомпромиссность правдоискательства Алексея Павлова. По-своему отражают впечатления от встреч с Яшиным бывший партийный работник Михаил Субботин и писатель Николай Жернаков.

Всех авторов за немногим исключением я знаю лично, и даже в их конкретных отношениях с Александром Яковлевичем. В этом для составителя кроется определенная трудность, но зато за искренность и достоверность материалов можно ручаться, что мне представляется существенным.

Предваряющая воспоминания автобиография «Писатель рассказывает о себе», дополненная мною событиями последних лет жизни Яшина, является как бы сквозным фоном для всех материалов, составляющих сборник.



«Земляки помнят» — первый опыт подготовки книги воспоминаний об Александре Яковлевиче Яшине и, смею надеяться, не последний. Роль Яшина в жизни Вологодской писательской организации неоценима. Несомненно значение его творчества и в истории всей русской советской литературы.

*Василий Оботуров*



Писатель  
рассказывает  
о себе



Я родился в 1913 году в деревне Блудново Никольского района Вологодской области. Отца своего не помню, он погиб в первую мировую войну. Семья бедствовала, и работать в полную силу мне пришлось очень рано. Но условия деревенской жизни среди охотников, зверобоев, вблизи таежных лесов с ягодами, грибами и всякой живностью таили в себе для детского возраста столько прелестей, что ныне я склонен вспоминать из этой поры больше хорошее, чем плохое и жестокое.

По окончании трех классов сельской школы я убежал из дому от отчима, чтобы учиться. В городе Никольске попал сначала в школу детдома, затем окончил семилетку и педагогический техникум. Все эти годы я каждое лето во время каникул работал в деревне.

В нашей деревне было много сказочников и песельников. В поле, на новине, на сенокосе — нигде отдых не проходил без сказок. Сказки рассказывались в овинах, в смолокурнях, на посиделках. Брели сказочников и на сплав леса, и на охоту, и на терпентиновые промыслы. А на дальние сенокосы, куда крестьяне уезжали целыми семьями на полмесяца и больше, часто забирали с собой стариков, чтобы они перед сном рассказывали уставшим людям сказки. Невыносимо тяжелый для подростков труд скрашивался, бывало, ожиданием, что в конце дня мы соберемся у костра в охотничьей избушке, ляжем на свежее пахучее сено и дед начнет свою очередную быватьщину.

Жарко горят березовые кряжи, шумит вокруг дремучий лес, а дед все говорит и говорит, иногда перебивая повествование стихами и протяжной былинной песней...

Любовь к сказкам, былинам и песням в наших местах живет и поныне. В колхозах при выездах на дальние лесные сенокосы престарелые сказочники определяются на должность кашеваров, им начисляются трудоводни.

Стихи сочинять я начал рано. Помню свою первую ученическую поэму «Про Арсеню батрака», про то, как он «за осминку табака робил год у кулака».

Батрак Арсеня был лицом реальным, кулак — тоже; все, о чем рассказывалось в поэме, было правдой, и крестьяне, пожилые и молодежь, нередко заставляли меня читать свою «складную бывальщину». Им, тогда в большинстве своем неграмотным, казалось удивительным, что не только про Илью Муромца и Алешу Поповича, но и про Арсеню батрака, про свое близкое, житейское могут быть сложены стихи.

Первые печатные стихи мои появились в районной газете «Никольский коммунар» и в газетах Великого Устюга — «Ленинская смена», «Советская мысль» и «Северные огни» в 1928—1929 годах. Несколько стихотворений было напечатано в московском журнале «Колхозник». В то время я принимал непосредственное участие в организации и укреплении колхозов. Это надолго определило мою основную литературную тему.

По окончании педтехникума я был сельским учителем в Чебсарском районе Вологодской области. В 1932 году при Вологодском пединституте сдал экзамены на звание преподавателя литературы и русского языка неполной средней школы. В этом же году в Вологде был создан Оргкомитет Союза советских писателей, — я стал его председателем.

В областной газете «Красный Север» я получил первое крещение газетчика, впоследствии очень пригодившееся.

Позднее меня перевели на работу в Архангельск, в Северное отделение Союза советских писателей. Там, в Архангельске, в 1934 году вышла моя первая книжка стихов «Песни северу».

Большим и важным событием моей биографии было участие в работе Первого Всесоюзного съезда советских писателей. На съезде я понял, что все, что делал до той поры, есть только начало настоящей писательской учебы. В 1935 году я переехал из Архангельска в Москву и поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.

Первая моя московская книга стихов «Северянка» была издана Гослитиздатом в 1938 году. В 1940 году в том же издательстве вышла первая поэма «Мать» (по новому варианту «Мать и сын»).

Начало Великой Отечественной войны совпало для

меня с окончанием Литературного института. В течение десяти лет я был членом ВЛКСМ. В июне 1941 года я вступил в члены Коммунистической партии. Получая партийный билет, я уже имел направление в Ленинград, в распоряжение политуправления Краснознаменного Балтийского флота.

До февраля 1942 года я находился в частях морской пехоты Балтики западнее Ленинграда. Первое время был редактором краснофлотской газеты «Залп балтийцев» в одном из укрепленных районов. Работа началась с организации полевой типографии. Мне удалось выпустить только шесть номеров газеты, причем два из них — экстренных. Враг уже подходил к городу. Начались жестокие бои. Советские моряки сражались, не щадя своей жизни. Я свое первое боевое крещение получил 14 августа 1941 года под деревней Ямсковицы, находясь в составе батальона морской пехоты. Сколько раз потом ни приходилось бывать в разных переделках, ходить в разведку — впечатления от первого боя навсегда остались для меня самыми яркими.

В дальнейшем я был корреспондентом газеты «Боевой залп», находясь почти все время в батальонах морской пехоты и на бронепоездах. Много стихов, очерков и заметок-сообщений печатал в газетах «Красный балтийский флот», «Боевой залп», «В атаку», «Боевая балтийская», выступая перед солдатами и матросами. Писал и рассказы. Часть из них печаталась в журнале «Краснофлотец».

В тяжелой обстановке блокады бойцы-артиллеристы одного из бронепоездов захотели сами учиться писать стихи, организовали литературный кружок, и я долгое время руководил им.

В феврале 1942 года я был переведен в Ленинград и работал в составе оперативной группы писателей при политуправлении Балтфлота, которую возглавлял Всеволод Вишневский.

Из Ленинграда меня направили на Волжскую военную флотилию. Там, служа инструктором-пропагандистом политотдела флотилии, я был очевидцем величавой, легендарной стойкости советских богатырей, переломивших под Сталинградом хребет врагу человечества — фашизму.

С Волжской военной флотилии я был переведен на Черноморский флот, работал заместителем ответственного редактора краснофлотской газеты «На страже».



Считаю своим особым счастьем в жизни, что за время Великой Отечественной войны смог ближе узнать неустрашимых советских моряков.

Мои стихи военного периода вошли в книги «Красная горка», «На Балтике было», «Город гнева» и «Земля богатырей».

Будучи демобилизован в 1944 году, я прожил лето в своем родном колхозе «Красный пахарь». Война сюда не доходила, но вся жизнь, вся работа людей и здесь были подчинены одной всенародной цели — скорее добиться полной победы над врагом. Здесь я написал книгу стихов о родном колхозе — «Земляки» (издательство «Советский писатель, 1946 г.) и тогда же начал работу над поэмой «Алена Фомина», которая в 1950 году была удостоена Сталинской премии.

Кроме этого, после войны я опубликовал поэмы «Сон Макара», «С Лениным», книгу стихов «Советский человек».

Я много езжу по стране. Так, в 1946 году был на Алтае в составе выездной редакции газеты «Правда», затем на Кубани, на Севере, дважды ездил с польскими крестьянскими делегациями по Украине.

Не порываю связи и со своим родным колхозом.

*Александр Яшин.*

От составителя. И в последующие годы Александр Яшин много ездил по стране. Побывал на строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции в качестве спецкора «Литературной газеты» в 1951 году. А через год он — очевидец того момента, когда слились воды Дона и Волги. Потом присутствует на открытии канала имени Ленина. Поэт месяцами бывает в поездках, но, расширяя тематику стихов, он еще явно делает уступки иллюстративности. Выходят новые сборники «Стихи» (1951), «Советский человек» (1952), публикуются книги избранных произведений (1954, 1955, 1957), а удовлетворения А. Яшин не находит.

Новые поездки на Алтай, на родину уже в ту пору, когда подул свежий ветер перемен после 1953 года, заставили многое пересмотреть в прошлом опыте. Особенно важным для выработки гражданских и творческих позиций писателя стал Второй съезд писателей СССР (1954) и предшествующие ему дискуссии. С сере-

дины пятидесятих годов усиливаются лирические начала в поэзии А. Яшина. Одновременно писатель все чаще берется за прозу, используя разные формы и средства утверждения своих представлений о жизни.

Книги стихов «Свежий хлеб» (1957), «Совесь» (1961), «Босиком по земле» (1965), «День творенья» (1968) приобретают форму самокритичной исповеди. В них удивительно широк лирический диапазон поэта — от радостных весенних ожиданий до горькой иронии. Вечная тема любви открывает неожиданные возможности постижения глубин духовного опыта. Природа, творчество, гуманистические ценности в их исторической преемственности — все это находит место в поздней лирике А. Яшина, ставшей самобытнейшим явлением.

А наряду с этим к читателю приходят вещи в прозе: рассказ «Рычаги» (1956), повести «Сирота» и «Вологодская свадьба» (1962), лирический рассказ «Угощаю рябиной» (1965). В них А. Яшин заявил себя талантливым прозаиком разнообразных возможностей — от острой социальной сатиры до нежной и грустной лирики. А ведь для нас, читателей, не были тогда еще известны повести «Астма», «Высочка», «Баба-Яга», целый ряд рассказов, которые опубликованы уже посмертно.

В последнее десятилетие своей жизни, по-прежнему часто бывая в поездках по стране и за рубежом, А. Я. Яшин подолгу живет на родине, что плодотворно сказывается на его творчестве, хотя легкими эти годы для писателя вовсе не были. Подробности его жизни для нас открывают дневники Яшина, публиковавшиеся в периодике в последние годы. В них — и острая боль утрат, и терпкая горечь сомнений, но тем дороже для нас гражданская смелость и страсть писателя.

За два десятилетия после смерти А. Я. Яшина опубликованы книги его стихотворений «Бессонница» (1968), «Из трех книг» (1976), «Границы души» (1982), книги прозы «Угощаю рябиной» (1974, 1982), «Журавли» (1979) и ряд других. В 1972 году издано двухтомное собрание сочинений писателя, а в 1984—1986 годах — собрание сочинений в трех томах.

Личность и творчество А. Я. Яшина все больше привлекают внимание исследователей и критики. Вышли книги о нем: Ал. Михайлов «Александр Яшин» (М., «Сов. Россия», 1975), Наталья Яшина «Воспоминание об отце» (Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977), Василий Оботуров «Неповторимое, как чудо» (Архан-

гельск, Сев.-Зап. кн. изд-во, 1978), А. Рулева «Александр Яшин» (Л., «Худ. лит.», 1980).

Верный сын России Александр Яшин по-прежнему вместе с нами. Книги его работают на благо Родины, находя все новых и новых читателей. Трудной была судьба писателя — стала благословенной.



Посвящается  
Александрю  
Яшину

Лирический  
венюк  
поэту  
и  
человеку



ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

...Мы сразу стали тише и взрослей.  
Одно поют своим согласным хором  
И темный лес, и стаи журавлей  
Над тем Бобришным дремлющим угором...

В леса глухие, в самый древний град  
Плыл пароход, разбрызгивая воду.  
Скажите мне, кто был тогда не рад?  
Смеясь, ходили мы по пароходу.  
А он, большой, на борт облокотясь,—  
Он, написавший столько мудрых книжек,  
Смотрел туда, где свет зари и грязь  
Меж потонувших в зелени домишек.  
И нас, пестрея, радовала вязь  
Густых ветвей, заборов и домишек,  
Но он, глазами грустными смеясь,  
Порой смотрел на нас, как на мальчишек....

В леса глухие, в самый древний град  
Плыл пароход, разбрызгивая воду.  
Скажите, кто вернулся бы назад?  
Смеясь, ходили мы по пароходу.  
А он, больной, скрывая свой недуг,—  
Он, написавший столько мудрых книжек,  
На целый день расстраивался вдруг  
Из-за каких-то мелких окунишек.  
И мы, сосредоточась, чуть заря,  
Из водных трав таскали окунишек,  
Но он, всерьез о чем-то говоря,  
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град  
Плыл пароход, встречаемый народом...  
Скажите мне, кто в этом виноват,  
Что пароход, где смех царил и лад,

Стал для него последним парходом?  
Что вдруг мы стали тише и взрослей,  
Что грустно так поют суровым хором  
И темный лес, и стаи журавлей  
Над беспробудно дремлющим угором...



КУРОРТНИКИ

А. Яшину

Сверкали горы в небе гранями,  
Пейзаж был ярок и величествен,  
Два земляка, два северянина,  
Ходили по земле таврической.

А над горами, как пожар, еще  
Катилось солнце — море плавило,  
Но было грустно двум товарищам,  
Одетым по курортным правилам.

На юге загрустив о севере,  
О всех делах, что там оставили,  
Один подумал: «Как посеяли?..»,  
Другой: «Как лес на реках сплывили?»

Как там район живет, работает  
Да как там планы выполняются,  
Когда они здесь, беззаботные,  
По бережку у моря шляются.

Но не любили громких фраз они,  
И про дела свои хозяйские  
Вслух было ими просто сказано  
Совсем не так в то утро майское.

Один сказал: «На Белом озере  
Еще остатки льдин мерещатся,  
И цвета моря море озими  
В полях за Белозерском плещется».

Другой вздохнул: «У нас за Вологодой  
Черемуха в Никольске пенится,  
И, значит, ветер веет холодом,  
А здесь куда от солнца денешься?»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЯШИНЕ

Казалось, не читал, а думал вслух он  
О том, что видел памятью вдали.  
И голос то легко звучал, то глухо,  
И шли слова, из дальней дали шли...  
Однажды вечером, пожав мне руку крепко,  
Он с милою улыбкой произнес:  
— Есть у тебя в стихах рябиновая терпкость,  
Но вкус рябине придает мороз!  
И был мороз, и ветер окаянный,  
Томительный, как вой голодных псов...  
Теперь бы мне не показалась странной  
Рябиновая горечь этих слов.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

Не парижен и не книжен —  
Русский. Сельский. Свой. Живой.  
У него угор Бобришный,  
У меня угор Рябишный  
Поросли одной травой.  
Те же елки да березы,  
Те же сосны меж осин...  
Он стихи творил из прозы,  
Из любви, а не для поэзы  
Землю к небу возносил.  
Припрягая к силе смелость,  
Много смог в недолгий срок.  
Одного ему хотелось —  
Чтоб любилось людям, пелось,  
Чтоб Земля у всех имелась  
И никто на ней не дрог.  
Не орган, но чуткий орган  
Родины (на то и сын).  
Не боялся — по задворкам,  
Не гнушался — на закорках  
Вынести из хмари в синь.  
Вынесенным тем не страшен  
Черт (горшки не боги жгут!).  
Загончарили... И Яшин  
Между ними — не вчерашен:  
Был, и есть, и будет тут.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

У поэта есть родина. •  
И не та лишь одна,  
Что в сражениях пройдена,  
Всему миру видна.

Но есть родина малая,  
Край родной его, тот,  
Где под зорькою алою  
Рожь, белея, цветет,

Где за елками-палками,  
За проселком в пыли  
День приветствует галками  
Деревенька вдали.

Проживает в ней, окая,  
Вся родня. И дружки.  
Даже если далекие,  
Все равно — земляки.

Пашут землю, что ласковой  
Сам народ не зовет:  
Только ноги вытаскивай  
Из песка да болот.

Но живут, не обидятся  
На «планиду» свою,  
Ибо новое видится  
Уж и в этом краю.

Жизнь идет над усадьбами  
И средь прочих иных  
Ни разлукой, ни свадьбами  
Не обходит и их.

И, заехав в ту сторону,  
Он не только хлеб-соль,  
Делит с ними он поровну  
Всю их радость и боль.

Жизнь, как чаши, качается —  
То горька, то сладка.  
Все поэта касается —  
Их певца-мужика.

Ведь земля Вологодчина,  
То Блудново-сельцо —  
И его это отчина,  
Отчий дом и крыльцо.

Там, меж речкой и тропкою,  
Шел он, клевер кося  
И рукой неторопкою  
Стих в тетрадь занося.

Строчку к будущей повести,  
Как прокос на траве,  
О недремлющей совести,  
О соседке-вдове,

О пичужкином пенье,  
О бельчонке в дупле,  
Будто шел в день творения  
Босиком по земле.

\* \* \*

К нему сегодня все идут с цветами,  
Как будто наконец собрали здесь  
Все незабудки те,  
Что за делами  
Живому  
Не успели преподнести.  
А жил он так, на почести не падкий,  
Так резал правду до конца пути,  
Что недруги —  
И то не без оглядки —  
Лишь к мертвому  
Осмелились прийти.

\* \* \*

Всю жизнь ходивший против ветра,  
Ты для других торил пути.  
Лишь два последних километра  
Тебя товарищам  
Нести.  
В слезах глаза у красных девиц,  
Росинки **капают** с ольхи,  
И со старинных полотенец  
Кричат напрасно петухи.  
Не добудиться, не дозваться —  
Не повернуть событий вспять,  
А все друзья и домочадцы  
Который день не могут спать.  
Не осознать пока потери  
И мучиться от одного:  
Кому теперь звонить и верить  
И опереться на кого?  
Зловеще обнажились дали,  
Лишилось крепости вино.  
Ах, если б слезы помогали,

То ты бы встал уже давно.  
Напрасны жалобы и стоны,  
Не возвратить минувших дней.  
Суметь бы только жить  
Достойно  
Прекрасной памяти твоей.



УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

Морозом изукрашенный,  
Автобус бег сдержал.  
— Остановка Яшина,—  
Кондуктор сказал.  
Я вздрогнул: память горькая  
Не умирает век.  
А за дверными створками  
Народ, дома и снег.  
Все закружилось сызнова,  
И встал передо мной  
Он, очень трудно признанный,  
Приехавший домой.  
Держал красиво голову,  
Годами умудрен.  
Посмотришь — выше в городе  
Всех на голову он.  
Допытывал на родине  
За стопкою вина:  
— Что пишите, не врете ли?  
Смотрите — жизнь одна.  
И взгляд — души окалина —  
Горел, неотразим.  
Мрачнел, когда лукавили  
С трибуны перед ним.  
Когда же в чьем-то голосе —  
Забота, прямота,  
Задорно светом полнился,  
Орлино взгляд метал.  
Твердил он без усталости,  
Что честная строка  
Запомнится, останется,  
Быть может, на века.  
И сам себя бессонницей  
Сжигал, в трудах суров,  
Чтобы взывала к совести

Первооснова слов.  
И шел он с редким мужеством  
Сквозь маету утрат.  
...Плывут снежинки, кружатся  
И сердце холодят.

## ПОЭТЫ

Нету Яшина, нет Рубцова  
И Орлова меж нами нет.  
Долго будет не зарубцован  
На душе обугленный след.

С кем теперь ни дружи и где бы,  
Мы увидим из мест любимых  
Их стихов высокое небо,  
Молодое созвездье их.

Все лучи с трех сторон — к России,  
Как и улицы их имен,  
К вологодской летят Софии —  
К чуду белому — с трех сторон.

## ЯШИН

В отдаленье, а будто рядом  
Он стоит под красной рябиной.  
Без любви, а с влюбленным взглядом,  
Без вины, а с душой повинной.  
Одаряет людей кистями,  
Будто северной поздней зорькой.  
Но объелись люди сластями.  
Разве им до рябины горькой?  
В мире нет беды окаянной,  
Чем к родной земле безразличье.  
Раскаляется в покаянье  
Слово медленное, мужичье.  
В этом слове для жизни все есть:  
Умудренно светит отрада,  
Обнаженно тоскует совесть,  
Неподкупно пылает правда.

И в стихи его корневые  
Рифмы катятся без запинки,  
Словно ягоды наливные —  
Наши клюквинки и рябинки.

### ВСТРЕЧА НА УЛИЦЕ

С ним на улице имени Яшина  
Я столкнулся. Он сумрачно брел.  
Он когда-то поэта подкашивал,  
На трибуны взлетал, как орел.  
И рядил и судил по-чиновничьи,  
Мол, поэт ищет только сучки...  
Он не видел ни правды, ни горечи  
Сквозь свои золотые очки...  
— Вы живете на улице Яшина? —  
Я спросил. Он ответил: — Да, здесь.  
И улыбка, смотрю, вмиг погашена,  
Да и сам передернулся весь.  
И взглянул виновато, болезненно,  
Мол, прошли уже те времена.  
Да прошли. Но осталась поэзия!  
К правде путь пробивает она!  
Я напомнить хотел эту истину,  
Но ему не сказал ничего.  
Лишь взглянул на знакомого пристально  
Очень старый он. Жалко его.

САЖАЮ РЯБИНУ

*Памяти Александра Яшина*

Сажая рябину —  
Пугливую гостью лесную,  
Сажая и верю  
В грядущую крону резную,  
В упругие ветви,  
Что ветры не сломят и грозы,  
В багряные кисти,  
Что медом нальются в морозы...

Сажая рябину  
Под окнами нового дома.  
И здесь ей покуда  
И боязно, и незнакомо,  
Как девочке сельской,  
Впервые приехавшей в город...  
Движением уличным  
Воздух проспекта распорот.  
И пахнет асфальтом  
И сладким бензинным угаром.

Сажая рябину  
В столичную землю недаром:  
Она пообвыкнет  
И тихо начнет приживаться.  
Здесь тоже Россия,  
Чего же ей, тонкой, бояться?  
В лесной глухомани  
Она испытала немало:  
И градом хлестало,  
И соков земных не хватало.

Чего тут лукавить!..  
Используя блага прогресса,  
Столичные скверы  
Живут повольготнее леса.

Ни сора, ни гнили,  
Здесь все в надлежащем порядке,  
Для стройных деревьев  
Тепла и подкормки в достатке.  
Они большей частью  
В питомниках выросли, в холе.  
Они от рожденья  
Не помнят о лесе и поле.

Без памяти этой  
Живется, наверное, проще.  
Не снятся ночами  
Боры и туманные рощи.  
Лесные завалы  
Над черной, как деготь, водою,  
Звериные тропы,  
Что пахнут кровавой бедою,  
Лесные пожары,  
Встающие огненным валом  
До самого неба,  
Из синего ставшего алым...

Без памяти этой  
Не видится поле ржаное,  
Что глухо шумит,  
Изнывая от тяжкого зноя,  
Не видятся травы,  
Облитые лунною дрожью,  
И крылья ополци  
В осенней тоске бездорожья.  
Без памяти этой,  
Хоть будь ты и в росте, и в силе,  
Едва ли постигнешь  
Земные заботы России.

...Сажаю рябину  
Под окнами нового дома,  
Где рядом рокочут  
Раскаты моторного грома.  
Она приживется  
(Не зря я над нею колдую!)  
И кисти поднимет,  
Как будто зарю молодую,  
И, может быть, душу  
Кому-то внезапно осветит

Живой теплотою  
В холодном неоновом свете.  
В стремительном мире  
Бетона, стекла и железа  
Она не забудет,  
Что родом из русского леса.

\* \* \*

Пристально просматривая время —  
ленту, что в сознании крутит память,—  
мы порой общаемся и с теми,  
кто давным-давно уже не с нами.

Но одних мы только вспоминаем,  
их всего лишь старшими считая,  
по другим — и шаг и жизнь сверяем,  
и отцов-то так не почитая.

Потому поистине над теми,  
что навек нам стали образцами,  
и не властно никакое время,  
ибо вечно жить им между нами!

**ОДНА СТРОКА**

Спешите делать добрые дела.  
*Александр Яшин*

Как будто друга вынес из огня,  
Как будто на груди рванул сорочку.  
Давным-давно, еще в разгаре дня,  
Ты написал навывлет эту строчку.  
Навыдох, вопрошающе, навзрыд...  
Так написал ты, что зажглась бумага  
И на щеках у нас зажегся стыд,  
Стыд, за которым следует отвага.  
Ты знал добро?

Ты мало знал добра.  
И слишком рано ты ушел со света.  
Спешите!.. Ах, не с кончика пера —  
Из сердца выкатилась строчка эта.



БОБРИШНЫЙ УГОР

*Памяти Александра Яковлевича Яшина*

I

Над Бобришным угором —  
облака, облака.  
Заповедным узором  
вяжет петли река.  
Дом построен не на год.  
Дом поставлен навек.  
У грибов да у ягод  
жил в лесу человек.  
Утром малые птицы  
заливались в лесу.  
Шел он в белой рубахе,  
нес косу на весу.  
С пестерьком да бидонцем  
уходил он в луга,  
чтобы выметать к солнцу  
молодые стога.  
То оттачивал слово,  
то косу ладил он.  
До деревни Блудново  
долетал перезвон.  
А по скошенным травам,  
как святые грехи,  
золотою отавой  
вырастали стихи.

II

За тысячу верст от столицы,  
до берега Юга-реки  
несла его скорбная птица  
в тот край, где живут мужики,  
его земляки-деревенцы,  
с кем быть ему дальше в веках.  
И взяли они полотенца,  
и гроб понесли на руках.

И рожь потихоньку вздыхала,  
И не было полю конца.  
И яркая радуга встала  
над светлым приютом, певца.  
С тех пор мы и радость и горе  
несем в этот ясный удел.  
Стоят на Бобришном угоре  
наследники яшинских дел.  
И строчки его повторяют,  
где правда превыше всего.  
И совесть свою проверяют  
под бронзовым взором его.

ПАМЯТНИКИ ЯШИНУ

Мать Яшина

у памятника Яшину  
сидела в белом крапчатом платке,  
немножечко речами ошарашена,  
согбенная,

с рукою на руке.

Ей было далеко уже за восемьдесят,  
но можно ли сказать,

что ей везет?

Ей книжки сына из Москвы завозятся,  
но сына ей никто не привезет.

Не припадет к ней головою памятник,  
мать не погладит бронзовых волос.

Речей наговорили самых пламенных,  
а сына нет.

Ни сына нет, ни слез.

Все выплакано.

Все давно отплакано,  
и перед ее бронзовым сынком,  
мизинчиком цепляя

туфли-лаковки,

девчонки под тальянку —

босиком.

Гуляй,

пляши и пой, угор Бобришный!

И я спляшу —

не потому, что пьян.

Хотя я вроде «человек столичный»,  
я русский —

тоже, значит, из крестьян.

И крепостная боль крестьянских ген  
сильнее всех на свете перемен,

Себя старинно бабы придели —

от сарафанов на холме красно,

и что-то тихим шепотом кудели

Вот пионерка.

Стихи читает —

над угором  
звучит предсмертным яшинским укором:

...Орел упал,  
но средь безлюдных скал,  
чтоб враг не видел,  
не торжествовал...»

камень или бронза

И СТИХИ,

я понимал Россию,  
но вновь ее учился понимать,  
и памятником собственному сыну  
мне показалась яшинская мать.

лесной и пашенный,

угоры,

ручейки,

а не рычаги...

ДРУЗЬЯМ ОТЦА

Я думал, вас осталось мало. —  
По пальцам можно перечесть.  
И часто сердце забывало,  
Что все-таки, наверно, есть

Еще друзья отца на свете.  
(Как и враги — само собой...)  
Ведь кто-то должен быть в ответе  
За человеческую боль.

Ведь кто-то должен оставаться,  
Когда уходит человек,  
И воевать, и не сдаваться,  
И падать замертво на снег...

И вдруг — как чудо (мир так тесен!),  
Как светлый ветер, — не спеша,  
Запели строчки вольных песен.  
И вмиг опомнилась душа.

И сразу канула тревога...  
Мне одиноким быть нельзя —  
Друзья отца, вас очень много!  
Вы и мои теперь друзья!

Я с вами. Кажется, по праву.  
И пусть кому-то не по нраву,  
Мы с вами многое должны...  
Вы мне, как мужество, нужны.

АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ

Теперь спокойно Вам...  
И мне печально...  
Я помню Вас,  
Я вижу Вас  
Во мгле!  
Хоть, кажется, встречались мы  
Случайно  
Всего лишь два-три раза  
На земле.  
И всякий раз мне виделось  
При встрече —  
Друг друга  
Узнавали мы с трудом,  
Когда шумел  
В разгуле красноречья  
Меня и Вас объединявший  
Дом.

Ничем  
Души моей Вы не касались,  
Когда с прямой —  
Подчеркнуто —  
Спиной  
Нетерпеливым путником казались,  
Прислушавшимся  
К ветру за стеной.  
Нас не сближал  
Ни общий стол,  
Ни водка.  
Казалось, чужд мне  
Говор Ваших мест,  
И Ваша слишком строгая  
Походка,  
И слишком взгляд безжалостный,  
И жест...

И вот теперь —  
Страницы книги Вашей,  
Посмертные  
И — узнанные вновь...  
Я чувствую,  
Всем сердцем к ним припавши,  
Какая  
Вами двигала  
Любовь!

Да,  
Вы имели право  
На тревожный,  
На резкий облик  
Неуютный свой...  
Как путник,  
Мглой застигнутый дорожной,  
Прислушавшийся  
К ветру над землей!

Вы только правдой  
В мире дорожили,  
И говор Ваш,  
И выговор,  
И статья  
Лишь одному призванию  
Служили —  
Все на земле  
По имени назвать.

Вы шли открыто,  
Напрямик спешили...  
Но многие ль  
Сумели подсмотреть,  
Что на земле  
Как человек Вы жили  
И как поэт  
Предчувствовали смерть...



Воспоминания





## ВМЕСТЕ С ЯШИНЫМ

Только с годами приходит понимание значимости самой личности Александра Яшина и следа, оставленного им в современной литературе. Когда думаешь о его творческой судьбе, невольно приходит на ум старое русское слово «стремнина». По Владимиру Далю, это и «быстрина течения, стрежь, стрежень» и «отвесная высота либо глубина, пропасть, бездна». В значениях, казалось бы, противоположных по смыслу, отражается необычность судьбы писателя и противоречивость ее, взлеты духа и глубина постижения жизни. И в эту быстрину так или иначе вовлекались все, кто был когда-то вместе с Яшиным.

Конечно, тогда немногие понимали А. Я. Яшина в полной мере. Теперь, с выходом его новых книг, публикацией дневников, наконец собрания сочинений и монографий о творчестве писателя, мы глубже постигаем его.

### 1

Серьезное знание жизни в противоречивости ее проблем и острая совестливость — это и были те качества, которые определили в конечном счете масштаб личности А. Яшина. Теперь нам становится ясным, что он не плыл по течению, но сам формировал свою личность.

Так, 21 ноября 1959 года он записал в своем дневнике:

«С возрастом к нам приходит потребность в большей душевной сосредоточенности, в размышлениях и обобщениях, когда для каждого нового стихотворения бывает необходимым материал уже многих лет жизни, а не одного-двух дней. Для поэта наступает как бы заново своеобразный переходный возраст со всеми его так называемыми проклятыми вопросами. Писать в это

время труднее, но и радостнее. Острее и глубже становятся чувства, любовь к родной земле, к родному языку, острее ощущение причастности к жизни и делам своего народа и ответственности за все. Хочется быть предельно правдивым, я бы сказал, совестливее и искреннее перед самим собой и перед людьми, как на исповеди».

Не правда ли, как спокойно звучат слова? Но сравните:

Тревожно и грозно,  
Тем более, что поздно  
И мой наступил  
Переходный возраст.  
Не слабым слышу,  
А в голос реву:  
Туда ли плыву я?  
Так ли живу?..

(«Переходный возраст», 1959)

А ведь стихи и запись в дневнике сложились почти одновременно... Напряженность стихов открывает, как непросто и нелегко приходят творческие открытия, какой это тяжелый труд. Но титанические усилия и награду обещают по достоинству: «Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах», — писал когда-то А. Блок. Но и то важно, что в творчестве судьба самоценна не сама по себе...

«Вы говорите, — писал Л. Толстой в письме Н. Страхову, — что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее».

Самовыражение художника есть средство общения его с читателем, народом, и А. Яшин знал это. «Поэт — прежде всего личность, — писал он. — И личность поэта в конечном счете — главное в поэзии, в лирике, в эпосе, личность свободная, осознавшая свое место в обществе, не приспособливающаяся, а борющаяся вместе с народом, идущая с веком наравне. Поэту в своем творчестве очень важно быть самим собой, найти себя, не изменять лицу своего дарования...».

Нет, здесь не утверждение права на эгоцентризм, поскольку Александр Яшин не отделяет себя от общества, от народа. Единство с народом для него — обя-

зательное условие. Заметим, что он пишет о Некрасове: «Весь он и по жизненному материалу произведений, и по языку — из народа и весь в народе». Подчеркнем, что наш современник и земляк Василий Белов с первых его шагов в литературе представляется Яшину «выходцем из вечно живой народной северной сказки...». Во всем этом, в каждом высказывании — позиция писателя, которую он отстаивал и в своих произведениях — в прозе и поэзии. Верность своим убеждениям, непрерывность поиска и совесть определили значение творческого вклада Александра Яшина в развитие современной литературы.

Припомним, что мы читали в прозе о деревне немногим более двадцати лет назад? Романы С. Бабаевского («Сыновний бунт»), А. Андреева («Грачи прилетели»), Е. Мальцева («Войди в каждый дом») — они нам сейчас кажутся наивными, неглубокими, далекими от подлинного искусства. Теперь нам знакомы и дороги «Привычное дело» и «Кануны» В. Белова, «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Дом» Ф. Абрамова, «Круговая порука» В. Маслова — в них заявлен качественно новый уровень художественного постижения жизни. Но как мог с такой стремительностью произойти столь значительный скачок в литературе? Ну, конечно же, он во многом подготовлен предшественниками: в чем-то В. Тендряковым («Тугой узел») и Ф. Абрамовым («Братья и сестры»), но особенно значительно — А. Яшиным: «Рычаги», «Сирота», «Вологодская свадьба» — эти произведения, преодолев узость тематических и производственных рамок, заявили социально-психологический подход к жизни в формах, соответствующих ей самой. Путь к новому был наметен...

С такой определенностью говорить о влиянии А. Яшина в поэзии невозможно, — тут требуется иной принцип оценок. Нагой автологический стиль поэтической речи, характерный для зрелого Яшина, традиционен, но автологизм того или иного поэта, как правило, непосредственно последователей не рождает. Дело в том, что в стихах Александра Яшина раскрывается, чем болит его душа. В них поэт такой, какой есть, а одна личность повторить другую не может. Да и зачем, кому нужно такое «удвоение»? Прямых последователей А. Яшина в поэзии быть не может, потому что его лирика по-своему уникальна, по сути своей неповторима.

Живая душа художника и гражданина Александра Яшина пульсирует в каждой его строке, волнует и тревожит. Поучителен опыт прозы писателя в исследовании глубинных социальных сдвигов и формирующихся новых общественных типов. Неоценимо значение его лирики для утверждения гражданской ответственности поэта и каждого человека перед обществом. На памяти многих и многих — пример личного мужества и святой непримиримости Яшина к приспособленчеству, общественной пассивности, любого рода нечестности.

Идут к читателям снова и снова книги Александра Яшина: в них и те произведения, которых мы не знали при его жизни, и уже известные, в которых мы открываем новую глубину. А это значит, что влияние его в литературе крепнет и будет возрастать, что писатель по-прежнему честно служит своему народу. По-прежнему, строгий и сильный, Александр Яшин уверенно держится на стремнине.

## 2

Время, известно, «вещь необычайно длинная», но как оно бессильно перед памятью, сжимается и отступает перед нею...

Более двадцати пяти лет пролежал у меня в одной из папок небольшой листок серой бумаги — вырезка из газеты «Никольский коммунар». Но стоило взять его в руки — и сразу припоминается тот вечер, в начале января 1962 года, когда я впервые встретился с Александром Яковлевичем.

Полтора годами раньше я увидел поэтические книжечки в скромных бумажных обложках. На одной из них надпись: «Земляки» — землякам. От автора. Александр Яшин. 17.VII.46 г. город Никольск». И на другой: «Газете «Никольский коммунар», в которой некогда печатались мои первые стихи (1929)». И та же подпись. А потом «Алена Фомина», адресованная той же газете «от автора-никольшанина»... Тогда же я побывал в обыкновенной деревне Блудново, примечательной разве только тем, что ее знают тысячи, теперь уж сотни тысяч читателей писателя.

И вот я увидел Александра Яшина впервые. Невольно сравнивал его с портретами в книжках: кажется, не очень похож. Больше похож на того, каким представлялся за строчками стихов.

В сером костюме, темноволосый, большой и костистый, серьезный и усмешливый, стоял он на трибуне, прочно расставив ноги. И, хотя это как-то не вязалось с резкими чертами лица, крылось смущение в теплом прищуре темных глубоких глаз. Таким, наверное, видели его и сотни никольшан, что пришли на встречу со своим поэтом в районный Дом культуры. Их не вмещал большой зал, и люди стояли за открытыми дверями его.

Когда идут в гости к близким людям, речей не готовят и бумажками не запасаются — так было и в тот раз. Яшин дорог землякам своими стихами — с них и начал разговор. Они легко вспоминаются, его стихи: за строкой, произнесенной поэтом, возникают в обгоняющей слова памяти следующие, но зазвучат чуть глуховато и с полнотой чувства — воспринимаются глубже и чуть по-иному.

Поэт свободно общается с аудиторией:

— Мне приходится много ездить и не только по нашей стране, но в Никольский район всегда тянуло и бывал в нем даже тогда, когда не летали сюда самолеты... Для меня конкретно связь с жизнью и выражается в этом, — говорит он.

Но вот лицо его слегка склонилось над книжкой, волосы непокорно падают на лоб... Александр Яковлевич читает стихи из своей новой книги «Совесь», положившей начало самому значительному периоду его творческого пути.

Поэт поясняет некоторые свои стихотворения, рассказывает, как возник тот или иной замысел. Порой в его словах звучат нотки юмора, но чаще голос Яшина серьезен и проникновенен. И, слушая его, собравшиеся на встречу чувствуют кровную заинтересованность поэта в общественных успехах, сопричастность их жизни. Поэтому-то и стал он людям необходим, потому-то и стал известен в поэзии, которая, как отметил тогда и сам Яшин, «наполнена большой человечностью, размышлениями о человеке и его счастье».

...В этот старый деревянный дом с огромными окнами по улице Советской, почти на самом берегу Юг-реки, в большую светлую комнату, в которой размещались все четверо литературных сотрудников газеты «Никольский коммунар», Александр Яковлевич в начале шестидесятых годов запросто заходил не раз, не два. Усаживался и спрашивал, спрашивал без конца, где и что

делается по району, что примечательное газетчики увидели в командировках и, казалось, неинтересного для него просто не существует. А ведь он сам вроде изъездил и исходил весь район, часами сиживал на сугубо производственных совещаниях, казалось, знал все и тем не менее всегда стремился на других проверить свои впечатления.

Через день-два после памятного литературного вечера А. Я. Яшин также привычно зашел в редакцию и поблагодарил за мою заметку в газете «Поэт пришел к землякам»:

— Спасибо. Хорошо написали.— Но помолчал секунду и добавил: — Только книжка моя не «Честность» называется, а «Совесть».

Вспыхнув до корней волос, я растерянно молчал... «И как же меня угораздило перепутать! Ведь мне так пала на душу яшинская книжка...» А дело было в том, что накануне я писал небольшую публицистическую статью о пьесе современного драматурга с этим самым названием — «Честность». Это меня и подвело.

Заминая неловкость, будто ничего особенного не случилось, Яшин перевел разговор на другое — на колхозные дела. Потом неожиданно вдруг спросил:

— А сами вы что-нибудь пишете?

Он, кстати, не терпел фамильярности и ко всем без исключения, независимо от возраста собеседника, обращался на вы.

— Да так... Вот в газету пишу,— снова покраснел я.

— И стихи, наверное, пишете?

— Не пишу я стихов...

— Тогда прозу?

— Критикой пробую заниматься.

В самом деле, кто же примет всерьез, что человек двадцати трех лет отроду занимается критикой! Было от чего смутиться! Но Александр Яковлевич, будто не заметив смущения, попросил:

— Дали бы что-нибудь посмотреть...

Преодолевая неловкость, я перебрал в столе свои пять-шесть рецензий, написанных к той поре и безнадежно гулявших по редакциям журналов, и предложил как раз ту — про пьесу «Честность» (она самой короткой оказалась — неловко к себе надолго внимание привлечь). Прочел он внимательно, молча вернул и, видя на моем лице невысказанный вопрос, сказал:

— Наверное, все правильно.— И после паузы:— Только я этого автора не читаю...

Ну вот и хорошо: коротко и ясно, и не надо больше мучиться смущением.

Только разговор этот имел некоторые последствия. Через какое-то время С. В. Викулов, ответственный секретарь Вологодской писательской организации, написал мне письмо и предложил прислать свои работы... Спустя лет десять в семейном архиве Александра Яковлевича я нашел письмо ему Сергея Викулова с отчетом своего рода: «С Оботуровым познакомился».

Так что и в этом случае, не разглагольствуя о помощи и ничего не обещая, А. Я. Яшин сделал то единственно необходимое, что было возможным тогда и с чего моя работа вошла в колею. И каждому он умел прийти вот так на помощь — спокойно, деловито и ненавязчиво. Заинтересованное внимание к работе молодых писателей было обычным для Александра Яковлевича.

В другой раз внимание Яшина привлек номер газеты «Вологодский комсомолец» от 16 мая 1962 года, который я держал в руках. Броско сверстанная полоса была густо заполнена неровными колонками стихов.

— Что, поэму Романова дали? — Судя по определенности вопроса, он знал о ней раньше.

— Да-а, очень необычна...

— Подарите мне этот номер.

Спокойно, ненастойчиво сказал это Александр Яковлевич, но по взгляду его было понятно, что ему очень хочется получить газету с новой поэмой Александра Романова тотчас же. И мне поэма А. Романова «Синие курганы» (позже, в книге «Семизвездье», вышедшей в 1963 году, она названа «Художники») тоже понравилась. Но разве мог я устоять перед просьбой Александра Яковлевича, тем более что поэма была посвящена ему...

А как-то в солнечный июньский день 1962 года я собрался в Югский лесопункт по служебной надобности и на спуске к пешеходному временному мосту (на период ледохода его разбирали) через реку Юг встретил Александра Яковлевича со спутниками — Ворониным Николаем Михайловичем и заворгом райкома партии Анной Яковлевной Омелиной. Они направлялись в колхоз «Каменный», где Воронин был председателем, а



машина его пошла в объезд. Ожидая газик, мы прилегли на берегу.

Николай Михайлович, мужчина крупный, костистый, с черным чубом волос и глазами темными, цыганистыми, завел разговор про «королеву полей», которую почти всю грачи выклевали из борозд. Яшин понятливо усмехался в усы, помалкивал.

— Так скажите, Анна Яковлевна, сеять все-таки кукурузу или не сеять? — спрашивал Омелину Воронин.

— Надо, Николай Михайлович, надо!.. — глядя в глаза собеседнику, настойчиво и проникновенно отвечала Омелина.

Что тут будешь делать? Пусть грачи выклеывают посевы, пусть робкие всходы тут же прибьет заморозок... Надо!.. И уж не знаю я, ведала ли нет Анна Яковлевна, что Воронин сеял кукурузу только на немногих гектарах возле центральной усадьбы Осиново, а на дальних полях, куда не добирается всякое начальство, у него буйно распускался клевер. Но Яшину об этом было доподлинно известно, потому он и усмехался, помалкивая.

А сколько подобных случаев ему встречалось... Да что там говорить, знал Яшин и о том, что за «неуважение» к пропашным был снят с работы третий секретарь Никольского райкома партии Л. В. Бабилов (я не застал его в Никольске, а позже встречался с ним уже как с председателем колхоза «Передовой» Вологодского района).

О многом рассказали Яшину председатели колхозов в гостинице Великого Устюга, где при производственном управлении состоялось совещание, которое вел первый секретарь обкома партии А. С. Дрыгин. Впечатления от этого совещания, собственные наблюдения и мысли писателя отразились в его статье «Ладно ли?» («Лит. газета», 1962).

О той встрече в гостинице рассказывал мне председатель колхоза «Россия» К. И. Иванов, мужик умный и хитрый, бывший предрик: пришел, мол, к землякам Яшин, долго беседовал, а потом прочел свое стихотворение «И стали мы пить чаек...»

Позже, уже без него, состоялось продолжение разговора...

— Неужели не обижаешься на Яшина, ведь он же тебя пьяницей изобразил? — спросил кто-то из председателей Н. М. Воронина.

— Нет, не обижаюсь! — ответил Николай Михайлович. — На что же здесь обижаться?

Пили они в гостинице, разумеется, такой же «чаек», какой и писатель «у председателя Осиновского колхоза», — о чем тут еще говорить... А Воронин всегда сохранял самые дружеские чувства к Яшину и на деле помогал ему, когда тот весной и летом 1962 года вплотную занялся строительством избушки на Бобришном угоре.

Тогда мы не раз встречались с Александром Яковлевичем, и, хотя не любил он жаловаться на жизнь, а искать сочувствия у человека молодого и вовсе ему было ни к чему, досада и раздражение в его словах все-таки прорывались.

— Вместо того чтобы за столом сидеть, приходится в Никольск ездить — за гвоздями, толем, смолой... Плотники не работают толком, только деньги на водку выпрашивают...

Есть чему огорчаться! Между тем председатель колхоза «Родина» В. Н. Берсенева, человек в ту пору еще сравнительно молодой, но себе на уме, помогать писателю не торопился, да и дела в колхозе шли неважно. Во всяком случае, мне дважды приходилось о них писать, и первый раз это был фельетон «Пятое действие арифметики» — о приписках, а второй раз корреспонденция «Седая рожь» — о завале уборочной страды. Бедственное состояние колхоза и Яшин знал досконально, в цифрах и фактах.

Между тем припоминаю, статья «Ладно ли?» не прошла незамеченной. В семейном архиве А. Я. Яшина сохранилось письмо секретаря Никольского райкома партии И. С. Мухина от 15 октября 1962 года. «Читали вслух, вся наша братия в райкоме...», — пишет Мухин. — Все одобрили. Считаю — вопрос поднят очень и очень правильно. Шаблон мешает работать. Во имя дисциплины — тоже». В тот день И. С. Мухин приехал с совещания из Вологды, и в письме он сообщает: «Выступал сам. Признал Вашу статью полностью. В некоторых местах своего выступления ссылался на статью. Например, говоря о посеве кукурузы в 1963 году, сказал (привожу слова дословно): «Прав Яшин, критикуя нас. Мужикам надо доверять».

Хорошо, когда слово доходит до адресата и при этом бывает правильно понято, но так случается, увы, не всегда...

«Вологодскую свадьбу» я прочел сразу по выходе: сельская библиотека получала по подписке «Новый мир», а работал я тогда в Полежаеве директором восьмилетней школы. Как мне было не принять очерк Яшина, если за два года я исходил пешком весь район (тогда здесь не было еще ни одного автобуса, лишь по трем-четырем маршрутам ходили грузотакси — не грузы, людей перевозили) и знал лично многих героев Яшина. Сама школа моя была подтверждением правоты писателя: два поставленные рядом пятистенка, в которых размещались три класса, да мезонин, разделенный перегородкой, где были восьмой, малочисленный, класс да учительская. А ветхость!.. Забираешься по темной скрипучей лестнице наверх и боишься — вот сейчас под твоими ногами все строение рассыплется. Жуткое впечатление оставляли и интернаты, в которых жило более сорока ребятишек. Но ни заведующего роно Пьянкова, ни инспектора облоно Антипенко затащить в школу я не мог, поскольку перспектив на ремонт ее не просматривалось. И такая школа не была исключением.

Многое разворошил во мне яшинский очерк, а поговорить было не с кем. Со своей «вышки» — из учительской как-то позвонил старым друзьям в райком комсомола. Отозвалась Клава Лобова, зав. общим отделом.

— Вася, ты по поводу обсуждения «Вологодской свадьбы», наверное?

— Какого такого обсуждения? — я был в недоумении.

— Василий Николаевич приехал с товарищем из Москвы. Сегодня в пять часов собираются.

Невольно взглянув на часы, я отметил — скоро три. За окном уже смеркалось, и вовсю играла метель. Сорок километров до Никольска и на машине сейчас за два часа не одолеешь по снежным заносам. Да и какая тут машина, если с утра ни одной не проползло!

— Так ты не знал ничего? — в свою очередь удивилась Клава. — А я Кукушкину говорю, вот был бы тут Оботуров, он бы сумел правильно рассудить. А Кукушкин сердито: «Как раз бы все запутал...»

В. Н. Кукушкин — первый секретарь обкома комсомола, человек еще молодой и по своему интересный. — мы с ним были немного знакомы, — самостоятельных

суждений в тех случаях, когда «есть точка зрения», не принимал.

Как бы то ни было, на обсуждении мне побывать не довелось, лишь позже разговаривал я со многими его участниками. Кое-кто азартно осуждал Яшина, большинство отмалчивалось, отводило глаза и только немногие заявили собственное мнение. Среди этих последних самыми прямыми были А. П. Пшеничников и А. А. Павлов. Их оценки той поры я помню до сих пор, да и они тоже, о чем и пишут оба в своих воспоминаниях.

Припомню, однако, иной разговор.

— Нет, не прав Яшин, нельзя так писать,— уверенно заявил М. В. Поникаров.

Директор восьмилетки в деревне Пермас в четырех километрах от Блуднова, коренной никольшанин, он знал Александра Яковлевича и многих героев «Вологодской свадьбы». И как выпускник филфака Самаркандского университета, считал себя человеком понимающим. А вот поди ж ты!..

— Да в чем же не прав Яшин, Михаил Владимирович? Может, у твоих школьников глаза слепнут от электричества, может, не пропивают мужики ползаработка своего и жены, может, мраморные дворцы культуры у нас в каждом колхозе?..

Против очевидности доводов ответа и он не находил. Мог сказать лишь одно:

— Так нельзя писать!

— Да почему же так нельзя и как можно?

Ответа ждать было бесполезно.

Впрочем, интересное, пусть и косвенное, признание правоты Яшина прозвучало через год на одном из совещаний районных работников культуры.

— Хватит разговоров! — резко заявил на нем первый секретарь райкома партии Н. А. Трапезников. — Пора нам на деле снимать пятно, нанесенное району очерком Яшина.

Человек дельный и уважаемый в районе (он, наверное, единственный, кто четырнадцать лет проработал предриком, а в глубинке это немыслимо трудно), знающий истинное положение вещей, Трапезников фактически признал правоту Яшина, хотя и не мог принять ее. Борение чувств его выразилось в невразумительности высказывания.

Но дело заключалось не только в хозяйственной

слабости и культурной отсталости района. Если бы Яшин написал только об этом, не велико было бы значение «Вологодской свадьбы», а теперь это произведение получило серьезную оценку по существу во многих статьях и исследованиях как явление идеологическое и эстетическое.

Просторно разметнувшись крутой излучиной под высоким берегом, Юг-река в конце лета мелеет, обнажая песчаные отмели. Ивняки да ольшаники низко склоняются над водой, а вверх бегут, поднимаются молодые сосны. Лес вдаль кажется бескрайним и таинственным, а здесь светло и солнечно. И уютно пригрелся домик, желтея свежими рублеными стенами среди сосен и берез.

Впервые я побывал на Бобришном угоре в августе 1963 года, когда хозяин избушки Александр Яковлевич Яшин еще и обжиться не успел. Обращенный окнами к реке, будто вглядывающийся в родимую даль, дом звал каждого, кто в него входил, осмотреться и прислушаться к вековой тишине.

Приехали мы на мотоцикле, который вел Володя Покровский, фотокорреспондент редакции газеты «Авангард» (такое имя получила районка после восстановления), вместе с Леонидом Фроловым, тогда заместителем редактора. Яшин и его гость Федор Александрович Абрамов были немногословны и задумчивы. Оба они тогда переживали не лучшую пору своей жизни: не сошли еще на нет грязные волны вокруг «Вологодской свадьбы», и такой же «проработочный» прием встретил очерк Абрамова «Вокруг да около».

Уютно и долго потрескивал в ночи небольшой костерок, разведенный поблизости от избы под деревьями. А молчание было тягостным: нам с Фроловым нравились разруганные очерки, но разве могли мы утешать их авторов — что для них наше сочувствие!.. А они между собой уже многое переговаривали, но горький осадок не растворялся, и свою горечь Федор Александрович вылил на нас ехидно, с издевкой. Нам только и оставалось задираться — ведь не каяться же в чужих грехах! Александр Яковлевич в перепалку не вступал, молчаливо усмехался: он-то наши настроения понимал.

Кстати, углубленный в свои переживания, Абрамов по той встрече нас даже не запомнил. Ко мне он подо-

шел знакомиться через Ольгу Фокину в Москве, на VII съезде писателей СССР, а вскоре мы с ним обменялись книгами. Ему я послал «Неповторимое, как чудо», очерк творчества А. Яшина, а он мне свой роман «Дом» с автографом: «Василию Александровичу Оботурову — дружески и с благодарностью за Белова и Яшина. Ф. Абрамов, янв. 1981 г.» Он имел в виду мою статью о В. Белове «Самим собою оставаясь» («Наш современник», 1979, № 10) и мою книгу о Яшине, по поводу которой написал: «Прочитал уже половину. Нравится! Может быть, только кое-где сглажены углы — Яшин был весь из углов. Ну да это лишь мое ощущение... 19 января 1981». Впрочем, попробуй «несглаженного» Яшина показать — он и до сих пор многим перестраховщикам страшен.

...Снова с Александром Яковлевичем я встретился уже в Вологде, будучи редактором «Вологодского комсомольца». Зашел он буквально на минутку, собираясь с группой писателей отправиться по Волго-Балту. Оглядел мимоходом кабинет, цепко взглянул на меня:

— Что же это, и всегда при галстукѣ?

Видел он меня в Никольске в синих китайских штанах из хлопка, которые «стрелку» не держали, и в черной сатиновой рубаше с закатанными рукавами — так и в райком партии, бывало, заходил. И не будешь ведь объяснять, что по «инстанциям» вот через час пойду — накануне приглашен. А он и не ждал объяснений:

— И паек уже носят?

— Жду пока, Александр Яковлевич, — принял я жестковатую игру, — да вот что-то не торопятся...

(Замечу, что редактора областной молодежной газеты Яшин вправе был принять за чиновника. Ведь недавно, четырех лет не прошло, именно со страниц «Вологодского комсомольца» начался разнос «Вологодской свадьбы». И пусть не ты организовал травлю — не стали таким же? Случаев, когда его знакомые перерождались, Александр Яковлевич знал достаточно. Резко ироничным, даже грубо задиристым он бывал нередко.)

— А стихи мои напечатаете?

— Разумеется, Александр Яковлевич. Только новые.

— Новые?.. — Он чаще встречал желание напечатать в областных газетах стихи уже апробированные. — Хорошо. Будут новые.

Стихи Яшина были опубликованы в «Вологодском комсомольце» 3 сентября 1967 года. Это были: «Молитва матери», «Глухая зима» (под заглавием «В лесной глуши»), «Скорые поезда» (под заглавием «Я ничего о тебе не знаю...»). В примечаниях к первому тому собрания сочинений А. Яшина (М., «Худ. лит», 1986, с. 620, 622) дана ссылка на «Вологодский комсомолец» как на первую публикацию названных стихотворений.

После поездки Александра Яковлевича заходил я к нему вместе с Виктором Коротаевым в больницу, но ничего, кроме тяжелой горечи, от той встречи в памяти не осталось. Конечно, тогда и не до разговоров было...

3

И вот мы снова на Бобришном угоре. Солнечно, многолюдно и... тихо.

Александр Яковлевич любил это тихое местечко «в получасе шаганья от деревни Блудново», и хоть гости званные и незванные частенко отрывали его от работы, он многое здесь написал, многое передумал. Еще 13 июня 1962 года А. Яшин записал в своем дневнике: «Угор этот влечет меня к себе и поныне... он — моя судьба... может быть, именно на нем суждено мне сложить и свои бранные кости». И снова, спустя пять лет, Яшин пишет о том же в стихотворении «Снег»:

Не о вечности грущу —  
На земле мой век!  
Все ж, когда умру,—  
Прошу:  
Схороните в снег.  
В его светлой мерзлоте  
На Бобришной высоте

Он и похоронить себя завещал там, на угоре.

11 июля 1968 года поэта не стало...

Бобришный угор навсегда уже принимал своего хозяина: от деревни Блудново полевой дорогой через рожь, потом лесом — весь путь его несли на руках многочисленные друзья и земляки, чтобы выполнить последнюю волю покойного писателя. Его похоронили слева от домика, между двух берез, на том самом месте, которое выбрал когда-то сам А. Я. Яшин.



12 июля 1975 года здесь при огромном стечении народа состоялось открытие памятника-надгробия Александру Яшину, выполненного скульптором В. А. Михайлевым; ансамбль осуществлен по проекту главного архитектора Вологды Н. Г. Луценко. Скульптура из металла установлена на черном мраморном постаменте, к которому прикреплена мемориальная доска из бронзы. На ней выгравировано: «Яшин (Попов) Александр Яковлевич. 27.III.1913—11.VII.1968».

И стоит поэт, скрестив руки, склонив голову в последней нескончаемой думе. И вспоминается Яшин еще живой, наверное, не только Александру Романову, написавшему светлые прощальные строчки в стихотворении «На Бобришном угоре»:

На Бобришном к белой березе,  
На карельский черный гранит  
Он встает, молчаливый, в бронзе,  
И стихами бронза гудит...

Вьется лист, с березы опавший,  
Грустно падает на металл.  
Над строкою думает Яшин.  
Он бы раньше тот лист поднял.

11 июля 1972 года в сквере Никольской школы-интерната также был открыт памятник А. Я. Яшину (скульптор М. В. Таратынов). В 1974 году Совет Министров РСФСР присвоил этой школе-интернату имя Александра Яшина (Попова).

На Бобришном угоре открыт домик-музей писателя. В Блуднове, на доме, где родился и вырос А. Яшин, установлена мемориальная доска. В Никольске и Вологде есть улицы, которые носят имя писателя...

Постоянно в Никольске и на Бобришном угоре проходят литературные праздники, посвященные памяти А. Я. Яшина. Их участниками бывали как писатели-вологжане — Василий Белов, Александр Романов, Виктор Коротаев и другие, так и гости из Москвы, Ленинграда и других городов — Владимир Солоухин, Станислав Куняев, Евгений Евтушенко, Глеб Горбовский, Валентин Устинов... И сколько еще служителей муз придет сюда поклониться земле, давшей Родине писателя-патриота Александра Яшина, оставившего в советской литературе свой неповторимый след.

Здесь, на Бобришном, он мальчишкой катался с горы, на чистой как слеза Юг-реке ловил рыбу, бродил по окрестным лесам с ружьем и корзиной. И сюда по-



ведет светлая память многих почитателей его таланта. Благодарные сограждане будут снова и снова вчитываться в беспокойные яшинские страницы, пытливно постигая его тревожную совестливую душу, осваивая не легкую науку правды и добра.

Сильный и сложный человек, Александр Яшин во всем искал совершенства и находил его: в лирике и прозе создал он своеобразные произведения, в которых проявилась его бескомпромиссная честность и правдивость.

Он был человек мужественный. За два с половиною месяца до смерти написал письмо в редакцию сборника «День поэзии» 1968 года — удивительный документ взыскательной человеческой души:

«Трудно представить себе что-либо более печальное, чем подведение жизненных итогов человека, который вдруг осознает, что он не сделал и сотой, и тысячной доли из того, что ему было положено сделать. Думать об этом необходимо с первых шагов литературной жизни. К сожалению, понимание этого к большинству из нашего брата приходит слишком поздно».

Каждый вправе и обязан судить сам себя по своим собственным меркам, и Яшин, прав, сожалел о несвершенном. Но его роль в литературе не ограничивалась только созданными стихами и прозой. Она проявлялась и в той заботе, которой Александр Яковлевич всегда оделял молодых. Писатели-вологоджане ему особенно обязаны.

За успехами в литературе каждого из молодых земляков А. Яшин внимательно следил и умел гордиться их достижениями. В далекой Осетии вспомнит он безвестного еще Бориса Чулкова, прочтет его стихотворение «Зимняя песня» («Падает снег, падает. Снег без конца и края...») и отметит в нем с удовлетворением «дыхание своего родного севера» и, главное, «восторженную любовь к нему самого автора». Тут же он порадует за Александра Романова, который удачно «сравнивал высокую мачтовую сосну с кирпичной заводской трубой, а крону сосны с зеленым дымком в поднебесье, и неприхотливый северный пейзаж вдруг заиграл небывалыми красками».

И так он умел оценить и поддержать каждого. Сергей Викулов, пользуясь советами Яшина, на даче в Мичуринце завершал книгу стихов «Заозерье» (1953), с которой и приобрел первую известность. Во дни жи-

тейской непогоды находил приют в московской квартире Александра Яковлевича на Лаврушинском Николай Рубцов. Борис Чулков с поддержкой и рекомендацией А. Я. Яшина вступал в Союз писателей...

Первым разглядел Александр Яшин и в опытах молодого еще Василия Белова задатки прозаика. И как он радовался, когда прочитал повесть «Привычное дело», по его словам, «простую и мудрую, трогательную до слез и глубоко правдивую». Яшин не боится высокой оценки и отмечает, что Белов «сумел увидеть в душе своих земляков такие лирические глубины, такую человеческую нежность и доброту, написал о близких своих с такой любовью и состраданием, и радостью, что для сравнения на память приходят лучшие образцы нашей великой русской литературы».

Искренним признанием и уважением отвечали Александру Яшину земляки-литераторы. «Мы сразу стали тише и взрослей», — негромко и с глубокой серьезностью сказал Н. Рубцов в стихотворении «Последний паром», посвященном памяти Яшина. Горькое смятение вызвала смерть А. Яшина у В. Коротаяева: «Кому теперь звонить и верить и опереться на кого?» — писал он. И дело было не в том, что вологодские поэты лишились яшинской поддержки в литературных делах — каждый уже и сам прочно стоял на ногах. Трагический смысл потери с особенной ясностью открывается, когда читаешь строки Василия Белова, обращенные к самому Яшину еще при его жизни: «Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока ты есть, мне легче жить...»

В литературе Александр Яшин прокладывал дорогу идущим вослед. Его творческое поведение — это живой и памятный урок гражданского служения народу. И чем дальше, тем действеннее для всех нас этот урок, тем виднее дорога.

## В ДНИ ЮНОСТИ...

В свои пятнадцать лет Александр Попов выглядел старше всех нас и старше своего возраста. Был он высок ростом, широкоплеч, с густой шевелюрой рыжих волос, с твердой прямой походкой и серьезным взглядом умных глаз. Его можно было принять за выпускника, но не за первокурсника. Большинство учащихся техникума были крестьянскими детьми, умели жать, косить, молотить, запрягать лошадей, бороновать и пахать. Мало ли работы в единоличном хозяйстве! Попов тоже знал всю крестьянскую работу и умел ее делать, но в отличие от всех нас он еще имел хороший, каллиграфический почерк.

И еще Александр Попов писал стихи. С первого курса он был известен всем студентам как Яшин и с удовольствием отзывался на свой псевдоним. Многие даже не знали его настоящей фамилии.

Стихами Яшина интересовались не только мы, первокурсники, но и остальные студенты. В педтехникуме был литературный кружок, и среди кружковцев имелись и такие, которые уже печатались. Но стихи А. Яшина выгодно отличались от произведений всех авторов. Многие строчки его стихотворений остались у меня в памяти до сегодняшнего дня, хотя стихи этих лет не вошли ни в один сборник. Очевидно, поэт считал их еще недостаточно зрелыми, несмотря на то, что уже тогда его стихи печатали газеты Никольска, В. Устюга, а некоторые были помещены в московском журнале «Колхозник». За три года учебы в Никольске Яшиным было написано много, и мы считали, что цель его жизни — литература, а не учительская работа. Вероятно, он и сам думал об этом.

Техникум давал среднее специальное образование. Сама учеба не вызывала у нас трудностей, так как весь учебный процесс в те годы строился на основе бригадно-лабораторного метода обучения. Студенты делились

на бригады по пять-шесть человек. Бригада вместе готовила уроки и вместе отвечала — чего не знает один, ответит другой. Оценки всем выставлялись одинаковые. Читались и лекции. Преподавательский состав был сильным и знающим свое дело.

Наш быт был не слишком устроен. Мы не имели общежития и жили на частных квартирах. В студенческой столовой кормили нас только обедом, а завтраки и ужины мы готовили сами на квартирах. Стипендия была мизерная — пятнадцать рублей в месяц, но могли дать половину и даже треть стипендии. Дело в том, что в те годы стипендии распределяли сами студенты и критерием для получения ее была не успеваемость, а материальное положение семьи. Без помощи из дома прожить было трудно. Правда, нас выручало свое подсобное хозяйство, продукция которого поступала в нашу столовую. Мы имели несколько коров, сеяли зерновые, закладывали парники. Сами косили, жали, молотили и ухаживали за коровами. Был у нас и свой трактор, и молотилка.

Вот начало стихотворения А. Яшина «Молотьба»:

Когда предутренний туман  
Смывала зорька молодая,  
Запел зубастый барабан,  
Пузатый колос разбивая.

Я помню то утро, когда мы вышли обмолачивать свой урожай. Завели трактор, пустили в ход молотилку. Снопья быстро обмолачивались, и ворох зерна продолжал расти и расти. Когда работа была закончена, пошли умыться на реку Юг. У всех было хорошее настроение, и Яшин был в восторге от сделанной работы. В тот день он и написал это стихотворение.

Наша учеба (1928—1931) совпала с первой пятилеткой. Это были незабываемые и героические годы. Весной 1929 года занятия в техникуме на месяц были прекращены, и все студенты направились в деревню для организации колхозов. Целый месяц мы проводили собрания в деревнях. В прокуренных махоркой избах, где дым стоял коромыслом, собрания начинались вечером и заканчивались с первыми петухами. Создавал колхозы и А. Яшин.

В 1930 году все зимние каникулы мы работали лесорубами в Дуниловском лесопункте, весной ходили на сплав плотов. Ходили только пешком: ни автомашин, ни

автобусов не было. Яшину до своего Блуднова было сравнительно близко, каких-то восемнадцать-двадцать километров, а мне до Вохмы (сейчас Костромской области) приходилось шагать сто двадцать. С котомкой за плечами (рюкзаки еще тогда не были в обиходе) мы шли от деревни к деревне, любовались волоками и речками.

Потом Яшин напишет:

Я из тех самых мест,  
Где семь верст до небес  
И все лесом да лесом...

В 1931 году нас направили на педагогическую практику. Я жил с группой товарищей из Вохомского района. Жили мы коммуной и занимали две большие комнаты. В летние дни в нашем распоряжении был еще сеновал.

Александр Яшин писал мне из Зеленцовской школы и часто заезжал в нашу коммуны, а иногда даже оставался у нас ночевать. Тогда устраивался настоящий литературный вечер. Он читал нам свои стихи, а больше стихи Сергея Есенина, Джека Алтаузена и других поэтов. Мы тоже не отставали, так как любили поэзию и многое знали наизусть.

К поэзии Сергея Есенина Яшин относился с восторгом, хотя надо сказать, что в то время стихи Есенина не издавались, как сейчас.

Внешне Яшин выглядел крепким и здоровым, но он часто чувствовал себя плохо: было что-то у него неладное с легкими. После первого курса он лечился в санатории, на втором курсе долго лежал в районной больнице. За время лечения, помнится, выучился играть на мандолине. Потом он демонстрировал нам свое мастерство.

Летом 1931 года мы разъехались на работу, а через два года встретились в Вологде. Тогда Александр Яшин уже оставил учительство и работал в Северном отделении Союза писателей в Архангельске, а я учился в пединституте.

Встреча была теплой и радостной. В гостинице он читал мне свои стихи из книги «Песни северу», которая готовилась к печати.

Было нам тогда по двадцать лет.

## НЕПОВТОРИМОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ...

1928 год... Июньский вечер дохнул на улицы Никольска прохладой и заполнил их запахами трав, цветущих яблонь и черемух. Плывут запахи с лугов Тотемского тракта, с Вахрамеевских уговоров и с полей Варламцева... Сыто, утробно мычат коровы, возвращаясь с пастбища... Такой вечер мил сердцу каждого никольшанина.

Мы лежим на траве в садике Никольского педагогического техникума. Лицом ко мне, подперев голову рукой, лежит студент первого курса Сашка Попов. Круглое веснушчатое лицо его выражает сосредоточенность, упрямо поблескивают выразительные глаза. Правой рукой он пытается откинуть назад рыжие непослушные волосы и спрашивает меня:

— Прилегли?

— Как у ежа.

Он зло натягивает кепку и грозит:

— Сегодня на ночь прикручу полотенцем. Пригну я их, как мне надо.— Сорвав травинку он кусает ее.

Немного в стороне от нас в самых непринужденных позах расположились учащиеся, приехавшие к нам из Кичменгского Городка, Павина и Вохмы. Они толкуют о переустройстве жизни и о том, какую роль будут играть в этом.

Но не все же о будущем печься, и белоголовый парень, в руках которого балалайка, заиграл частушки, а двое запели:

Бога нет, царя не надо,  
Никого не признаем.  
Провались земля и небо,  
Мы на кочке проживем!

Потом заводила студентов из Енапги продекламировал есенинское «Письмо к матери», и веселая братия начала планировать поход в сад.

— Давай, Толька, поменяемся сегодня штанами.

Дыр на моих нет, их чуть-чуть подчистить да разгладить и сойдут за новые. Вот удивится твоя зазноба, когда увидит в таких штанах!

— А ты, Суся, в какой кофточке пойдешь? Если не наденешь белую с розовыми горошками, то я ее надену. А тебе дам желтую.

Многие учащиеся техникума жили тогда коммуной. Из стипендии или из денег, присланных из дома, вносили определенную сумму в общую кассу и питались в столовой. Посылки, присланные из дома, с мазаными пирогами, печеным мясом и прочими лакомствами, делились на всех. Общая еда была узаконена, и этот закон стал переходить и на одежду. Так коммунары умудрялись разнообразить свой гардероб на вечер. А в школу ходили в комсомольской форме — в гимнастерке и брюках галифе зеленоватого цвета с широким ремнем и в портупее через плечо.

Интересно жил техникум в те годы. «Мир хижинам — война дворцам!» — этим определялись все наши отношения: родившиеся в хижинах — друзья, во дворцах — враги. Пережитками капитализма считались ганцы, короткая или узкая юбка, воротничок у рубашки. И особо страшными врагами нового считались девочки, от которых иногда пахло духами. Вся сила общественного воздействия обрушивалась на это «мещанство».

Об этих «отсталых людях» говорили в классах, на комсомольских собраниях, громили их ядовитыми частушками и фельетонами.

В организацию «живых газет» вовлекались едва ли не все учащиеся. Около сотни человек пело в хоре, многим меньше играло в струнном оркестре, десятки человек показывали на вечерах гимнастические пирамиды, от которых захватывало дух у слабонервных.

Как-то автор знаменитой песни техникумцев «Последний нынешний годочек» сообщил нам, что в программу вечера включены стихотворение Попова и мой фельетон, и предупредил, чтоб читали с чувством. А потом предложил нам составить также сатирические частушки.

...А вот мы с Сашей Поповым сидим в кабинете первого редактора газеты «Никольский коммунары» и слушаем разбор нашего творчества. Иван Николаевич медленно шагает около своего стола и, беря со стола то стихи Попова, то мои заметки, зачитывает из них от-



дельные нескладные предложения и тут же поправляет их.

Я сижу и рассматриваю щели на полу. Мне стыдно за мою несуразицу. Не лучше чувствует себя и Саша.

Редактор смотрит на нас и усмехается.

— Ничего, это случается со многими. Дело поправимое. Поймете правильно, лучше писать будете. Согласны с моими замечаниями? — И, взглянув на меня, спрашивает: — Ты, кажется, едешь в деревню? Теперь это передовая линия. Ликвидация неграмотности, заготовки, создание колхозов — такие дела, которые изменяют жизнь до неузнаваемости. Вот и пиши обо всем этом. В преобразовании деревни сельским корреспондентам будет принадлежать почетное место. Это бойцы за все новое. Только помни, что материал должен быть правдивым от первого до последнего слова. Ну, желаю вам удачи! — попрощался он с нами.

— А я буду писать стихи! Буду учиться и писать стихи, — заверил меня Саша, когда мы вышли на улицу. — У меня уже пять стихотворений напечатано. За последнее из «Ленинской смены» мне три рубля послали. Накупил я конфет, пряников и всех своих дружков в Блуднове угостил.

Улицы Никольска, подсушенные морозом, засыпает первый снежок. Он белит крыши, оседает на голых ветвях деревьев.

Саша негромко декламирует:

Выткался на озере алый свет зари.  
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.  
Только мне не плачется — на душе светло...

И добавляет:

— Люблю я Есенина. Видал я в Блуднове и алый свет зари, слышал и как глухари плачут.

...Жизнь развела нас. Но, живя в деревне, я читал в газетах новые стихи, подписанные «Александр Яшин», и радовался за друга.

1944 год... Ноябрьский порывистый ветер зло свистит в оголенных ветвях деревьев и холодными каплями брызжет в оконные стекла. Я сижу в небольшом нетопленном зале Никольского клуба работников просвещения. На трибуне стоит широкоплечий моряк в черной



шинели и читает стихи о мужестве советского солдата, о его любви к своей Родине, о ненависти к фашизму.

Я узнаю голос, порывистые движения рук, острый взгляд Саши Попова. Но теперь это уже другой человек. Это солдат, которому пришлось понюхать пороха в боях за Ленинград и Сталинград. Это поэт Севера Александр Яшин.

После окончания встречи с земляками он засыпал меня вопросами.

— Как ты жил? Есть ли кто теперь в Никольске из наших общих знакомых?..

Домой мы бредем медленно. Утонувшие в темени улицы безлюдны. Слабый свет коптилок кой-где пробивается из окон и растворяется, не достигнув земли.

Александр Яковлевич иногда останавливает меня и, указывая на силуэт дома, вспоминает:

— В этом доме жили енанцы: Толька, Костя, Валерик и Аркашка. Помнишь Аркашку Митина? Маленький, толстый, а боролся мастерски. Меня раз так через себя перекинул, что я едва отдышался. Задиры они все были. Не уживался я с ними. Где-то они теперь?.. А здесь жили девушки: две Насти и Люба, о которой я вздыхал в свое время. Как же сложились их судьбы? Наверно, как у многих учительниц: дожили до тюлевых занавесок и смотрят через них на мир божий.

От этих слов меня покорило. Вспомнились долгие годы учительской работы, сотни учеников-ребятишек и сотни взрослых, что прошли школу ликбеза. Вспоминалась борьба за каждый килограмм хлеба, мяса, масла, за каждый кубометр леса, бессонные ночи при создании и укреплении колхозов и война, вымотавшая у тружеников тыла все силы.

— Настоящего учителя к тюлю зря приклеивают. Плохо ты знаешь этих людей,— ответил я и шагнул в сторону.

Александр Яковлевич положил мне руку на плечо:

— Не горячись, не хотел я тебя обидеть.

У здания техникума мы остановились.

— Дождика нет, присядем здесь. Помолчим. Здания средней школы и это — для меня святые.

Привалившись к кирпичной ограде, мы слушали шелест оголенных ветвей лип и снова вспоминали:

— Где Василий Ножнин? — спросил Яшин о бывшем директоре средней школы. — Когда ты последний раз видел его?

— В сорок втором году, между Плаксиным и Кожевым я встретил партию никольшан, отправляющихся на фронт. Среди них был и Ножнин. В том же году на него пришла похоронка. Погиб героически... У его жены я читал письмо от командира части.

Александр Яковлевич вздохнул.

— Да, нашему поколению пришлось всего хлебнуть вдоволь. Гладких дорожек нам не досталось.

— А куда повела тебя дорожка после окончания техникума?— полюбопытствовал я.

— Работал учителем в Чебсаре, но не лежала душа у меня к этому делу. Тянуло к литературе. Кончил литфак Вологодского пединститута, работал в газетах Вологды и Архангельска. В Архангельске вышла и первая моя книжка «Песни северу». Читал? А рецензию на нее видел? Да, поправили меня тогда вовремя. Был на фронте. Теперь живу в Москве. Окончил институт имени Горького.

Мы закурили.

— А как у тебя с учебой?— спросил Александр Яковлевич и, услышав ответ, удивился.— Почему на географическом, а не на литфаке? Неужели ты бросил писать? Неужели в твоей жизни не было такого состояния, которое тянуло бы тебя к бумаге и ручке?

— Не из дерева я вытесан,— возразил я.— Мне пришлось в деревне видеть такое, от чего спирало дыхание, и виденное я записывал. Больше всего меня поражает мужество и выносливость наших никольских женщин. Голодные, холодные, с кучами ребятишек, они косят, стогуют сено. Если лошади есть, то пашут и возят на поля навоз на них. Если же лошадей нет, то пашут на себе и сами же на санках из деревни везут в поле навоз. Поплачут иногда, поругаются и опять за дело... С полей даже колоски собраны, и на лугах не оставлено ни кустика травы — и все женщины. Они и председатели, они и бригадиры...

— Ты эти записки свои собери и пошли мне в Москву,— предложил Яшин.— Я в прозе не силен, но прочитаю. А при Союзе писателей у нас есть комиссия по работе с начинающими авторами. Дам и им познакомиться. Они ответят... Сам я подумываю написать поэму о женщине-крестьянке. Поживу в Блуднове, посмотрю.

— Только не через тюль,— посоветовал я.

— Язык у тебя, что шило,— рассмеялся Яшин.

Письмо из Союза писателей порадовало меня мало. Записки мне вернули обратно и упрекнули в том, что у меня нет наблюдательности, много лобовых суждений и язык учительский.

Александр Яковлевич мне послал бодрящее письмо:

*«Сашка! Читал я твои записки и рецензию. Не огорчайся. Из этого материала можно сделать хорошую книжку, если над ней как следует посидеть. Помни: не боги горшки делают, а наши фоминчане. Желаю тебе упрости и настойчивости».*

В пятидесятом году редакцией газеты «Красный Север» был объявлен конкурс на лучший рассказ. Один из своих рассказов послал и я. Жюри он был одобрен, и меня пригласили на совещание молодых писателей области.

Там я снова встретился с Яшиным. До начала совещания мы сидели в буфете, пили чай и рассматривали друг друга.

В это время Яшин был уже членом Правления Союза советских писателей, лауреатом Государственной премии, что мне было известно. Я с интересом вглядывался в него и видел перед собой человека в полном расцвете сил, в модном костюме, при галстуке и с аккуратно уложенной прической. Но скуластое лицо, пронизательный взгляд, никольский выговор и быстрые движения рук оставались в нем от прежнего Сашки Попова.

Помешивая ложечкой чай, Александр Яковлевич то и дело дотрагивался другой рукой до галстука, будто сомневаясь, тут ли он.

Я усмехнулся.

— Омещались, пережитки прошлого начали прилипать.

Он серьезно взглянул на меня, а потом захохотал:

— Здорово нас в Никольске воспитали! К галстуку у меня и теперь какое-то отвращение: надену — и хожу как с веревочной петлей. Ну ладно, рассказывай, как добрался? Что из написанного прислал?

— Пока пять страниц.

— Негусто, — нахмурился Яшин. Но пообещал: — Я посмотрю.

Допив чай, он предупредил:

— Про Никольск и Блудново не спрашиваю. Зайдешь ко мне — расскажешь. Я живу в «Северной».

Три дня я просидел на совещании. Было интересно

видеть людей, создающих книги, слушать их советы начинающим авторам.

— В писательском деле требуется два процента таланта, а девяносто восемь процентов должен занимать упорный настойчивый труд,— поучал нас руководитель совещания Сергей Викулов.

— Только страница, выношенная в душе, десятки раз переделанная, может быть интересной для читателя,— наставлял меня и Коничев. И, как всегда, пошутил:— Быстрота требуется только при ловле блох. А писателю она нужна, как собаке пятая нога.

После окончания работы совещания я встретил его и Яшина на улице. Подхватив меня под руку, Александр Яковлевич пожаловался Константину Ивановичу:

— Не признает земляк меня. К себе звал — не идет. Теперь, браток, не отпущу.

— Боюсь примазаться к чужой славе. Увидят нас вологжане вместе — примут еще и меня за какую-либо знаменитость,— постарался я скрыть свое смущение.

— Зубастый у тебя землячок-то! Пальца в рот не клади,— усмехнулся Коничев.— Ну ладно, мешать вам не буду,— и оставил нас вдвоем.

У себя в номере Яшин долго расспрашивал меня о Блуднове и его людях. А потом признался:

— Мысли мои часто улетают из Москвы в Блудново. С кожей оторвал я себя от деревни. Летом обязательно приеду. Поклонись там от меня реке и лесу.

Закурив, он пристально взглянул на меня.

— Читал «Алену»? Что скажешь?

— Все уже об этом сказано. Говорить что-либо теперь, это плевать против ветру.

— Я думал, что ты скажешь «не плевать»,— усмехнулся Яшин.— Теперь о тебе. У нас есть такое мнение, что при определенных условиях из тебя бы мог выйти неплохой литератор. Но ты слышал, какие требования предъявляет жизнь к писателю. Сможешь ли ты отдать себя целиком литературе? Это особа ревнивая: или отдавайся весь или бросай писать.

— Я учитель, мое время забирает эта работа.

— Выкраивай время и делай записи — это тебе пригодится. Будут рассказы — посылай мне. Хорошо сделаешь — найдем место, а плохому никакие знакомства не помогут.— И на прощание поинтересовался:— Есть ли у тебя деньги на дорогу?..

И еще вспоминается... Июльским теплым вечером на Шарьинском тракте я встретил «Победу». Увидел ее издали и удивился появлению такой машины на наших дорогах. Поравнявшись со мной, она остановилась. За рулем сидел Александр Яковлевич.

— Едем в Блудново рыбачить,— предложил он, открыв дверку.

Соблазн был велик, но я отказался.

— Приезжай завтра утром. Отдохнем. На весь день уйдем на реку. Приезжай, ведь завтра у тебя выходной...

На другой день, как заправские рыбаки, мы стояли у дома Александра Яковлевича и гадали, в какие места идти.

— К устью Куданги,— предложил я.

— Нет, пойдем к Бобришному. Места там хорошие,— решил Яшин и направился к полю.

За деревней жизнь шла своим чередом: зеленел лес, пестрели цветы, тянули свои трели жаворонки, в низине стонали кулики. По обе стороны дороги поле было засеяно кукурузой. Растеньица, выкинув из земли два-три листочка, пожелтели и, кажется, отсчитывали свои последние дни. Не радовало их никольское солнце, не радовал и запоздалый теплый ветерок с юго-запада. Поле казалось серым, безжизненным, по нему всю бродили грачи, справляя поминки по «королеве полей». Александр Яковлевич иногда сходил с дороги, выдирая южанку с корнями, рылся в них и зло бросал обезжизненное растение на дорогу.

У ворот из поля мы увидели небольшого сухонького старичка в потрепанной фуфайке, в лаптях и выгоревшем картузе старого покроя. Он острил еловый кол. Повернув на наше приветствие узкое лицо с редкой седой бородкой, он оглядел нас с головы до ног и попросил:

— Покурить, Яковлевич, не найдется? Забыл кошелек с табаком дома. Присаживайтесь, не к спеху ведь вам.

Старик закурил и, почесывая в бороде, как-то ехидно поглядывал на нас.

— Разживаться, Яковлевич, начали блудновцы: стало от семян земли оставаться. Вот как! Вишь вот, поле-то засадили заморской королевой... Разграбили земельку, баб с лукошками и с острыми палками к каждой линейке поставили и скомандовали: «Садите!». Ты-

чут бабы палками в землю, в ямки по зернышку кладут и зарывают. Захоронили так, а меня в охранники приставили: храни, говорят, пуще своего глаза, проворишь — в должности понизим. Три недели она сидела не показывалась. Наши-то культуры через пяток дней в рост идут, а эта, брат, не торопится. Потом высунула по листочку, по два... и зааминала. Бабы наши блудновские ее загубили. Что они понимают? Надо было к каждой королеве рядом по королю садить, тогда бы дело пошло. Вылезла, значит, королева из земли, а короля-то и близко нет, вроде бы как вдовая. Ну пожелтела и зачахла. Вот и сидит теперь гадает: жить ей или умирать. В общем я ношу решетом воду.

Рассказ старика напомнил мне бессмысленность своих дел и по дороге к реке я пожаловался Яшину:

— Я тоже ношу решетом воду. В апреле всех директоров школ предупредили о том, чтобы они на лето в своих школах приспособили классные комнаты для выращивания цыплят. В мае и к моей школе подкатила колхозная грузовая машина с четырьмя тысячами пернатых. Поместили мы их в класс со всеми удобствами. Маленькие пухленькие существа без роду и племени неутомонно чиликали, требовали еды и питья, а ночами, сбиваясь в углы кучами, давили друг друга десятками. От четырех тысяч осталось три...

Яшин будто меня не слышал. Он мрачно смотрел на дорогу и молча шел до самого берега.

Река Юг в этих местах изгибается, уткнувшись в твердые породы, отворачивает от них и, делая замысловатые петли, зарывается глубже и глубже. Там, где она встречается твердый грунт, берега ее круты. Таким крутым берегом и стал Бобришный угор. С него сквозь хвойные ветви сосен и листву берез видна голубая лента реки, покрытые цветным ковром луга, а за ними бор.

— Постоим здесь,— предложил Александр Яковлевич. Люблю я этот уголок. Здесь думается мне сделать простую охотничью избушку, приезжать сюда летом и работать среди леса и лугов, на которых трудились наши отцы и деды.

У глубокого омута мы сидели до полудня и смотрели на неподвижные поплавки. Наевшись утром, окуни и ерши дремали около берегов в траве, а светлые рыбы резвились на перекатах.

Настроение у меня было гадкое. Начало портиться оно утром при посещении своей птицефермы. А разго-

вор со стариком о кукурузной эпопее окончательно выбил меня из нормальной колеи. Хотелось высказать все накипевшее, и я обрушился на Яшина:

— Почему в нашей литературе теперь пишется только о том, что было и что будет? Почему нет настоящей жизни, ее сложности? О вологодских местах написано много, и везде одно: лесное золото, зеленое золото, северный шелк, молоко, мясо и масло... А человека-то нет! Как живет земледелец, лесоруб? Что он думает? Почему писатели забыли про это? О трудностях, конечно, и писать трудно, но и отворачиваться от них нельзя. Прежде чем ехать, надо очистить дорогу от разного мусора. Теперь многих бросило в фантастику, в хвалебные гимны вроде «Кубанских казаков», а кой-кто спрятал голову под крыло.

Александр Яковлевич долго смотрел на меня, будто видел первый раз, наконец спросил:

— Все? Ты что, ругаться пришел?

— Не вам бы и не сказал... Колхозники ежедневно спрашивают меня, просят объяснить, для чего все эти причуды с торфоперегнойными горшочками, кукурузой и цыплятами. Что я им могу ответить? Я знаю одно: пашей земельке ее хозяин должен поклониться десятки раз и не с пустыми руками, поклониться любовно, и она отблагодарит хозяина...

— Обожди,— остановил меня Яшин.— Под крыло головы я не прятал и не спрячу и тебе советую говорить и писать только правду. Если ты этого боишься, то из тебя писателя не выйдет. Надо иметь мужество говорить правду и иметь мужество защищать ее.

Так как у нас по-прежнему не клевало, я отошел на другое место, пониже метров на сто. Здесь у поворота реки был пережат, и около берегов воду крутило в небольших заводях. Я сбросил червя, нацепил на крючок катышок черного хлеба и через полчаса три здоровенных сорожинны затрепыхались на берегу.

Александр Яковлевич подошел ко мне и забросил леску рядом с моей. Но поплавок его был по-прежнему неподвижен.

— Что за чертовщина? Почему они мой крючок обходят? Нашептал ты что-то?

Я показал ему свой крючок и дал кусочек хлебного мякиша.

И под вечер с полной сумкой сорожняка, ельцов и голавлей мы взбирались на Бобришный угор.



Александр Яковлевич повеселел.

— Учился я грамоте, писанию стихов, шоферскому делу. Придется теперь идти к тебе на выучку ловить рыбу. Сколько возьмешь за науку? — шутил он.

В пятьдесят четвертом году я прочитал речь Александра Яшина на Втором съезде писателей и понял справедливость его слов о том, что судьба никольских людей — это его судьба, что он мужественный человек, способный отстаивать свои убеждения.

Вот что он, в частности, говорил:

— С позиции советского человека, а не с позиции обывателя и ворчуна, мы можем и должны писать и говорить обо всем, что встречаем в жизни неверного, ошибочного, и мы никогда не ошибемся. Мало поклясться в верности принципам социалистического реализма, надо драться за их торжество и в литературе и в самой жизни.

С этих же позиций выступал Александр Яковлевич и на четвертом областном совещании писателей в Вологде в 1960 году. В перерыв он подошел ко мне. В руках у него было два томика альманаха «Литературная Вологда», в которых были напечатаны и мои рассказы.

— Давай, давай, смелее иди! Это хорошо, что кيسельных берегов у тебя нет и злости к гадости хватает. А почему ты сделал рассказы? Ведь это очерковый материал. Видел я точно такое у нас на родине. И меня потянуло к прозе. Думаю написать очерк о Никольщине. Найти бы только зацепку. — Помолчав, он снова вернулся мыслями к совещанию. — Вас здесь полсотни человек со всей области, и если бы из всех оказался хоть один хороший прозаик или поэт, знаешь, как много бы это значило для Вологды и для всей русской литературы!

Вечером мы бродили по центральной улице Вологды. Люди возвращались с работы, толпились на автобусных остановках, потоками вливались в магазины и выходили из них с полными сумками и сетками.

— Зайдем в буфет, посидим, — предложил Яшин. И за кружкой пива рассказал: — Собрался я сюда ехать, до отхода поезда осталось около часа, и вдруг звонок. Дочка открыла дверь, и за ней в квартиру вошел здоровенный мужчина средних лет. Назвался учителем из Никольского района. В больницу, говорит, попасть не



могу: и с направлением не принимают. Я позвонил в больницу, разъяснил им кое-что. Обещали устроить. Нашел ведь как-то меня! Праздником для меня бывают дни, когда чем-либо поможешь своим землякам. Тянет родина к себе. Даже во сне я часто вижу дорогу по блудновским полям... Да, а чем кончилось дело с кукурузой? И сколько выросло и возмужало в твоей школе пернатых? Я в Москве рассказывал своим коллегам о старике-стороже и о цыплятах в классных комнатах. До слез смеялись... А прибаутки старика и теперь ходят среди нашей братии.

— Старика в должности не понизили. Он верой и правдой служил вдовой королеве, оберегая ее от грачей, пока поле не перепахали,— доложил я.

И про себя сообщил, что похвал за цыплят не получил, но и в должности меня тоже не понизили.

— Вскоре после нашей встречи на реке приехал в колхоз один из работников обкома. Председатель колхоза, видимо, решил блеснуть развитием птицеводства и привел его в школу. Шли последние экзамены в выпускном классе. И ответы учащихся заглушались непрерывным чиликаньем голодных цыплят. А перед открытой дверью в цыплятник высокий гость даже за нос схватился: такими ароматами оттуда пахнуло. Потом отвел председателя к окну и приказал, чтобы через три дня в школе не было этой гадости. «Свиней еще будете разводить в классе!» — возмущался он. Сразу после этого цыплят переселили в дровяник, где они и жили до первых чисел декабря. От четырех тысяч осталось около пяти сотен. Это были «герои»: скудную еду и декабрьские морозы они переносили стойчески.

Александр Яковлевич громко рассмеялся, вытирая слезы.

— И не смеяться нельзя. Но после таких рассказов не о кисельных берегах писать захочется.

«Вологодскую свадьбу» я прочитал два раза в течение суток. После первого чтения я почувствовал себя так, как будто меня сильно ударили по голове. Факты, изложенные в очерке, путались, насккивали один на другой и подменялись собственными наблюдениями над никольской жизнью. Второй раз я читал медленнее и внимательнее и не нашел ни одного положения, которое я мог бы опровергнуть.

В течение двух месяцев очерк читали в каждой деревне и говорили о нем везде, где собиралось два-три человека. В марте я видел декабрьский номер «Нового мира» и поразился его зачитанности. Довести его до такого состояния могли только руки, которые перевернули каждый листочек сотни и сотни раз.

Еще как-то февральским вечером я застал в Кожавском сельском клубе группу девушек и женщин, сидящих вокруг большого стола и оживленно беседующих. Среди них была и библиотекарь Коноплева Мария Федоровна.

— А знаете, бабы, что я скажу,— на вологодский манер заговорила немолодая женщина в плюшевой жакетке.— Первый раз в жизни слышу, чтобы наши деревни назывались в книгах. Ну-ко и Блудново, и Козловка и Теребаево... А еще, бабы, диво, что свадьба-то старинная описана. Ишь, как раньше женились: и с причетами и со всеми делами, какие положено, все на своих местах. Если бы вот так замуж-то выйти, наверно, и мы бы с Петькой по-иному жили.

— И про кино ладно написано,— поддержала говорившую соседка в полушубке. Санька у меня четвертый год как замуж вышла, и ни разу в их деревне не показывали. А я, бабы, полвека прожила, а железной дороги не видала, окромя как на картинках.

— Разговоры мужичьи у пива праведно описаны. Выпьют по стакану вина али мозгодробилки — и начнут жизнь исправлять...— продолжила разговор тучная тетка в ватнике. Уж что правда, дак правда. Мой покойный Иван, не тем будь помянут, трезвый человек человеком был, а как попадет за воротник — так вранье из него пойдет, как лай из собачьей пасти. Нахвастает тем, чего у него век и не бывало. А у твоего, Катька, ревом похмелье выходит: как напьется, так и закапают слезы, а он их размазывает по лицу одной рукой, а второй за стакан держится. Всякие они есть: кто выпьет — дак поет и пляшет, а больше всех я не люблю драчунов. Яшина-то я летось видела — высокий да статный... Увижу если еще, поклонюсь до земли за его правду. Так ведь, бабы?

— Ну, знамо, так! Можя, после этого по приморозку косить перестанем.

— Да и ношами летом траву носить не сладко. Обдерешь кожу со спины да и страху натерпишься. С фонарем ведь, бабы, я ночами косила. Поклониться Яши-

ну надо всем миром. Написала бы ты, Мария Федоровна, ему письмо со спасибом, все бы бабы подписались.

— А я бы еще спасибо сказала за то, что правду он написал о нас, горемыках, которые от мужниных кулаков ночуют в голбцах, на сеновалах или у соседей. И теперь ведь над нашим братом что не выстраивают, а пишут только о поцелуях да о золотых свадьбах... Нет, бабы, пока мужикам воля с выпивкой дана, нечего нам ждать человеческой жизни. С синяками и в гроб положат.

У мужчин разговоры другие. Собравшись в избе, где даются наряды на работу, они курят махру, угощая друг друга и судят о своей жизни. «Вологодская свадьба» разбудила в их памяти забытое. Начинают они с фактов, указанных в очерке, и прибавляют то, что видели и испытали сами. Но из всех разговоров вывод делается один: «белая головка» — вершитель судеб людей.

Люди, которые знали жизнь никольшан только из телефонных разговоров и желаемое принимали за действительное, об очерке были иного мнения. В городе состоялось обсуждение «Вологодской свадьбы» в читальном зале библиотеки.

Особо рьяные ораторы, потревожив прах дедушек и бабушек поэта, умозаключали:

— Что мог написать выходец из твердовиков и раскулаченных? Начал с лаптей, кончил берестяными пестерями, солонками и пряжами. Это клевета на никольскую жизнь! Лаптей, пестерей, заячьих троп, темных углов у нас нет.

— Выкормила его никольская земля, из лаптей посадила и в люди вывела, а он отблагодарил земляков! Отказаться надо от такого земляка и закрыть ему дорогу в Никольск.

Направление в оценке «Вологодской свадьбы» было дано свыше.

12 февраля 1963 года мне пришлось быть на комсомольском собрании в Байдаровской школе, где проводился разбор очерка Яшина. На классной доске были написаны вопросы:

*Насколько правдиво Яшин изобразил нашу действительность?*

*Чему учит «Вологодская свадьба»?*

*Какие мы должны сделать выводы?*

Учитель русского языка и литературы спросил соб-

равшихся, все ли они прочитали «Вологодскую свадьбу» и предоставил слово учащимся.

Тонкий белоголовый юноша робко поднял руку и направился к столу. Помявшись, он как-то неестественно кашлянул и прочитал написанное на тетрадном листке:

— Яшин недоработал статью. Он нашу жизнь искажил. Хороших людей у него нет, и его произведения ничему не учат.

Оглядев собравшихся, он улыбнулся и сел на свое место под дружные аплодисменты товарищей.

— Молодец, Куваев,— похвалил учитель, теперь слово предоставим Строгановой.

Девушка решила произнести свою речь без бумажки, но память ее подвела. Она долго стояла молча, мучительно припоминая заученное. Наконец протараторила.

— Яшин собрал все старое. Теперь жизнь у нас не такая. Побывал бы он в нашей деревне — и не написал бы такое.

Лишь один Воронин Василий осмелился утверждать:

— В статье есть факты, которые изображены правильно. «Горько» и «сладко» на свадьбах бывает, это я слышал сам.

Остальные же ученики обвиняли писателя в искажении действительности.

После собрания я спросил учителя:

— Для чего ты устроил эту комедию?

Он посмотрел на меня как на выходца с того света и коротко изрек:

— Директор приказал. А ты что, от жизни отстал?

Во мне кипела злость на подобных ревнителей указаний сверху. Я пытался растолковать им смысл очерка. Некоторые соглашались со мной, но были и такие, которые упрямо твердили:

— Оклеветал Яшин Советскую власть! Позорит свою Родину! Вы с ним одного поля ягоды...

В июне 1963 года я оказался проездом в Москве. Поезд пришел утром, а другой — на Ригу — отправлялся ночью. И я зашел к Александру Яковлевичу на квартиру.

— Давай, мамка, нам чаю и к чаю,— обратился Яшин к жене и невесело пошутил:— К чаю никольским

мужикам немного и надо — пол-литра спирту и корку хлеба, а нет ее — они и рукавом закусят.

Каким-то усталым, осунувшимся показался мне Александр Яковлевич. Видимо, и я выглядел не лучшим образом.

— Износился ты тоже, Сашка, сморщился, — разглядывал меня Яшин.

— В Ригу еду разглаживать морщины. Дома-то вряд ли удастся от них избавиться.

— А я тут собирался уже отдать богу душу, — признался Александр Яковлевич. — Трое суток мы с ним сговаривались. Вначале он, кажется, соглашался принять мою душу, а потом заупрямился. С никольскими делами, говорит, сначала разделайся...

Помолчав, Александр Яковлевич достал из ящика стола папку с письмами и, перекладывая их, спросил:

— Почему из-за «Вологодской свадьбы» в Никольске подняли такой шум? Я хотел сделать так, чтобы никольшане жили как все советские люди: ездили по хорошим дорогам, слушали радио, смотрели кино и чтоб в каждой избе горели лампочки Ильича.

— Так и поняло большинство, — заверил я. — Но есть у нас люди, которые всеми силами попытаются забраться выше по служебной лестнице и для этого все вокруг красят только розовыми красками. «Вологодская свадьба» выстегнула подряд несколько ступенек из их служебной лестницы, и они завывли.

Яшин подал мне папку с письмами.

Я читал искренние доброжелательные письма рядовых колхозников и колхозниц из Блуднова, Плаксина, Теребаева, письмо учителя из Калининской школы Алексея Павлова и посматривал на Александра Яковлевича.

— Этому я радуюсь, — сказал он. — Но беспокоит меня вот эта папка. Тут другой разговор. Прочти, — и протянул мне вторую папку.

Здесь авторы писем кричали как базарные торговки: «Поосторожнее, товарищ писатель!», «Клеветать на нас не позволим!». А несколько страниц, напечатанных на машинке, заканчивалось даже таким заявлением: «За земляка мы Вас не считаем и отрекаемся от такого землячества!»

— Что скажешь? — спросил Александр Яковлевич.

— Никольшан здесь мало, а те, что есть, расписались под письмом в угоду вышестоящим товарищам.

Заводил всей этой трескотни видно по фамилиям. Брось ты все это в печку, а вот первую папку сохрани. В ней голоса земляков настоящих.

Я очень хорошо понимал душевное состояние Яшина. Человек, в детстве испытывавший нужду, воспитывавшийся в сиротстве, чаще всего бывает очень чувствителен к несправедливости. Но он умел подавить в себе обиду.

— Когда поезд уходит в Ригу? — спросил Александр Яковлевич. — Времени у тебя еще много, поедем — покажу Москву.

«Победа» вынесла нас из Лаврушинского переулка и влилась в поток машин различной окраски и различных марок. Улица Горького, Проспект Мира, ВДНХ... Всюду машины, всюду люди, и все спешат.

— Гадко у меня на душе, — не отводя глаз от ветрового стекла, пожаловался Александр Яковлевич. — Приглашают меня в Рязань, в Кострому, в Краснодарский край... Но я решил, что поеду в Вологду. Там у меня друзья есть, единомышленники — они помогут пережить эту свистопляску.

Мы долго кружим по московским улицам. Но приходит время отправляться мне на вокзал. И вот уже Яшин крепко жмет мне руку.

— После курорта приходи на Бобришный угор, я буду там. Никольск и Блудново — моя судьба.

В августе на Бобришном угоре уже стояла изба из соснового леса, покрытая шифером, с настланными полами и потолками. Окна ее смотрели на излучину реки.

Печник возился с глиной, кирпичами, и Александр Яковлевич помогая ему, записывал названия печных инструментов и их назначение.

— Пришел кстати, — обрадовался он мне. — Мне нужно с тобой серьезно поговорить.

Придерживаясь за стволы сосен и берез, мы спускаемся к реке.

— Как встретили земляки? — полюбопытствовал я.

— По деревне хожу как именинник, а вот начальство от моего приезда морщится. Из Шарьи через радиостов я попросил послать на аэродром машину. Знаешь они что ответили?

— Не знаю, но предполагаю.

— Хорошо, помог Вадим Каплин, а то запевай лазаря. На его машине я и добрался до Никольска.

Мы спустились к самой воде и сели на бревно.

— А поговорить с тобой я вот о чем хотел,— сказал Яшин.— В нашей газете я читал твой последний рассказ «Расправа». Для чего ты его написал? Кому нужно такое чтиво? На протяжении десятка лет ты зло высмеивал хапуг, пьяниц, лодырей, тунеядцев — людей мешающих развитию нашего общества и вдруг расчувствовался и вместо того, чтобы отправить рукопись в издательство, бросил ее в печь. А утром встал со свежей головой, вышел на улицу и увидел жизнь чистую, как стеклышко, без сучка без задоринки. Таков, кажется, сюжет?

Я молча ковырял палочкой землю около своих ног и боялся взглянуть на Яшина.

— В том, что литературные способности у тебя есть, нет никаких сомнений. То, что печаталось в «Красном Севере», я читал в Москве и от души смеялся над фельетонами «Кто из кого комедию сделал», «Доровские музыканты», «В глубокие бы омота», над твоими микрорассказами. Номера газеты с твоими юморесками я видел здесь, в деревнях, знаешь где? Лежали они на божницах, за иконами. Берут их оттуда люди и перечитывают. Своих стихов в таких местах я не находил, а хотел бы этого. Радовался я за тебя: думал, что выходит на дорогу жизни сатирик, и этот сатирик мой земляк. Что же случилось с тобой?

— Смалодушничал я, испугался того, что сделали с тобой,— признался я.

Яшин усмехнулся:

— Меня клюют, а у тебя душа в пятки ушла. Давно я к тебе присматриваюсь и вижу, что учитель и литератор в тебе не на равных. Учитель на правах хозяина забирает столько времени, сколько ему нужно, а литератор ютится в твоей душе, как бедный родственник. А литература не игрушка, она требует человека всего без остатка. Ты не первый рассказ написал, и спрос с тебя должен быть строгим.

Александр Яковлевич еще долго объяснял мне, что прежде чем начать писать, надо спросить себя, для чего ты берешься за перо, какие мысли возникнут у читателя, когда он прочитает написанное тобой, а затем до мелочей продумать сюжет и, когда первый вариант будет готов, тогда и приниматься за настоящую писательскую работу: выбрасывать лишнее, добавлять необходимое и тщательно работать над языком.



— И еще прет из тебя учитель и в твоих рассказах. А литература лобовых нравоучений не терпит. Пиши так, чтобы читатель сам сделал тот вывод, который тебе нужен. А ты его суеть готовым.

Этот разговор с Яшиным мне крепко запомнился.

В следующий раз я побывал на Бобришном угоре, когда там вместе с Александром Яковлевичем жил и Василий Иванович Белов.

С Беловым мы встречались на совещаниях в Вологде. Он читал и рецензировал мои рассказы, и у нас установились доброжелательные отношения.

В избе пахло свежеструганым лесом, на полу играли солнечные зайчики. Но никого, кроме сестры Александра Яковлевича, я здесь не застал.

— Саша на реке. А Василий Иванович вон на лавочке,— показала она.

Человек небольшого роста с густой бородой и добрыми глазами, копошащийся возле рамы, напомнил мне лубочные картинки о старцах — прозорливых праведниках. Какой-то теплотой повеяло на меня.

— Садись,— не поднимая глаз от рамы, предложил Василий Иванович.

— Стамеска и молоток у вас из рук не выпадают,— заметил я.

— Я ведь работал в бригаде плотников, они меня кой-чему научили,— признался Василий Иванович.— Пригодилась и здесь их наука. Саша попросил сделать окно открывающимся... Как живешь? Что пишешь? В Вологде давно не был? — засыпал меня вопросами Белов.

Я достал папиросы и предложил Василию Ивановичу. Он взял папиросу, закурил, но предупредил меня:

— При Александре Яковлевиче не кури. Бросает он курить, и очень мучительно. Я ухожу на берег и там втихоря балуюсь. Плохи, Платоныч, у него дела, сам увидишь. Вон он на том плесе...

Я спустился к реке и пошел по берегу. Вода в реке отстоялась и была настолько прозрачна, что на дне отчетливо проглядывались мелкие камешки. В густых кустах ивняка возились и свистели маленькие пичуги.

Александр Яковлевич услышал мои шаги. Держа в одной руке удочку, другой он подал мне знак, чтобы я



шел потише. В траве около него блестело несколько со-  
рожек, а среди них щетинился и изгибался только что  
снятый с крючка ерш.

Яшин сильно изменился. Он стал как будто еще вы-  
ше, и одежда казалась ему широковатой. На осунув-  
шихся щеках отчетливей выступили скулы. Во взгляде  
была какая-то грусть.

Он положил удочку и сел рядом со мной.

— Непорядок у меня, Сашка, и, кажется, серьез-  
ный. Тяжело... А жить, Сашка, хочется! Помнишь ис-  
торию с моим братом в Пермасе? Такая же произошла  
с сыном в Москве. Теперь злосчастье обрушилось на  
меня. Много в жизни я перетерпел, выходил из многих  
трудных положений... Но выйду ли из этого?

Над нами со свистом пронеслась стая уток и с плес-  
ком опустилась у другого берега.

Александр Яковлевич помахал им рукой.

— Эх, такие бы крылья!

— Отлетали уж мы,— не подумав, сказал я.

— Нет, не отлетали! Отлетаем тогда, когда на нас  
два метра земли насыпят. А теперь мне еще жить,  
Сашка, хочется! А ты как после курорта? Мало мор-  
щин-то ubyло. Написал ли что новое? Читал я твой  
«Вирс» и вспомнился мне случай с одним московским  
поэтом, который крепко деньгу любит и для того, чтобы  
ее приобрести, способен пойти на любой компромисс.  
Вот собратья по перу и решили над ним подшутить, а  
мастеров на такие дела среди писателей немало. Поз-  
вонили этому поэту на квартиру утречком и елеыным  
голосом предложили ему от имени правления право-  
славной церкви написать текст церковного гимна. Ну  
поэт, конечно, возмутился сначала: я, мол, советский  
писатель, коммунист, а вы мне предлагаете такие дела!  
Но ему назвали сумму, ассигнованную на гимн, и герой  
наш, сразу забыв о роли писателя в нашем обществе и  
о партийном билете, пообещал подумать. А на второй  
звонок уже ответил согласием, только попросил его  
проконсультировать. За ним послали машину, но при-  
везли его... не к святейшему патриарху, а к шутникам-  
писателям. Так что нам еще как нужны и Щедрин, и  
Гоголь.

В разговоре Яшин оживился, но желтизна его лица  
вызывала тревогу и недоброе предчувствие.

В 1967—1968 годах на страницах центральных газет  
и журналов появились статьи, дельно исследующие

творчество Яшина. Изменилось отношение к его творчеству и на родине. Сменившееся руководство Никольского района начало исправлять ошибки, допущенные предшественниками.

О том, что Александр Яковлевич лежит в московской больнице, что ему делали операцию, что земляки привезли ему в больницу и установили на подоконнике возле кровати сосенку с Бобришного угора, я слышал от многих. И как многие, не находил себе покоя: опасение за жизнь Яшина, как заноза, терзало мою душу.

Смерть уже кралась к нему, и, чувствуя ее леденящее дыхание, он просил похоронить его на родном Бобришном угоре, на том месте, с которого видна река Юг и подступающий к ней бор.

11 июля 1968 года перестало биться сердце нашего земляка Александра Яковлевича Яшина. И согласно последней воле писателя, тело его привезено в Блудново.

Никогда не изгладится в памяти день похорон Яшина. Фасад дома, в котором прошло детство Александра Яковлевича, весь уставлен венками... Сотни людей толпятся на улице... А переполненные автобусы все прибывают и прибывают...

Около покойного — родственники и соседи. На лавке у маленькой печки — Василий Иванович Белов с платком у глаз. Тут же Александр Романов, Виктор Коротаев и другие вологодские писатели и поэты — они пришли отдать последний долг своему старшему товарищу, который первым из вологжан вышел в большую литературу и повел их за собой.

...На Бобришном угоре в десятке метров от избы, между двух берез, под которыми любил сидеть покойный, вырыта могила.

Речи, ружейный залп, всхлипывания людей и стук земли о крышку гроба...

Прощай, Александр Яковлевич! Прощай, наш земляк!

## ОДЕРЖИМОСТЬ

Архангельск. Тридцатые годы. В двух тесных, прокуренных комнатках местного отделения Союза писателей шумно и оживленно. Литературные споры, дружеский разбор новых стихов и рассказов, обмен новостями...

Александр Яшин в пестрядинной деревенской рубашке, в гетрах, по моде тех годов, был непрменным участником жарких литературных боев, но явно предпочитал им спокойную задушевную беседу о поэзии. Он затаскивал кого-нибудь из присутствующих на клеенчатый диван и, вынув заветную тетрадку со стихами, читал и пытливо вглядывался в глаза собеседника.

— Ну как?.. — и ждал нелицеприятного ответа.

Он не терпел увиливания, дружеской снисходительности. Морщился, как от зубной боли, когда, не подумав как следует, цедили обкатанные, подобные булыжникам слова или неискренне подбадривали: тетрадка захлопывалась, разговор заканчивался. И другое дело, когда собеседник отзывался сопереживанием.

В этих случаях Александр Яшин как бы озарялся внутренним светом, хотя в словах оставался сдержан. И дотошно расспрашивал, чем именно понравилась эта строка, эта метафора... Можно было удивляться его плодовитости, но он умел безжалостно отбрасывать неудавшееся, несовершенное.

Его преданность поэзии была безгранична. Позднее мне довелось узнать, что еще в школьные годы он носился с тетрадями, полными стихов, и его даже прозвали «рыжим Пушкиным».

Литераторы Архангельска были чрезвычайно обрadowаны выходом в свет первого номера журнала «Звезда Севера».

— Вы понимаете, что это значит? — взволнованно говорил Александр Яковлевич. — Печатный орган поможет теснее сплотить нашу литературную молодежь, полнее выявить таланты.

Стихи Александра Яшина,— а они часто печатались в журнале,— уже тогда подкупали упорным стремлением к совершенству формы. Он умело находил интересные темы, стремясь к гражданственности своей поэзии. В частности его волновали коренные перемены в жизни деревни.

В те годы среди архангельских литераторов были такие колоритные фигуры, как Степан Писахов, Сергей Марков, Константин Коничев, Владимир Жилкин, Пэля Пунух, Евгений (тогда еще Женья) Коковин. В общении с ними проходило мужание поэта.

Интересно было слушать словесные состязания Коничева с Яшиным на предмет знания северного фольклора. Уроженцы разных мест Вологодской области, они отстаивали каждый свое, родное.

— Я певец Кубеноозерья,— обычно шутливо возглашал Константин Иванович.

— А я патриот Юг-реки,— отвечал Александр Яковлевич.

К чести Яшина надо сказать, он не уступал в знании крестьянских обычаев, народного языка старшему по годам и умудренному жизненным опытом Константину Ивановичу.

— А вот послушай, какие на Никольщине послания к лешему бывали, в расщеп дерева вкладывались,— и Яшин сыпал из древних времен изустно дошедшими заклинаниями, обращениями ко всякой лесной нечисти.

Многое знал поэт из обихода ведунов, знахарей, бабок-причитальниц, помнил народные песни, сказания, прибаутки. Все это помогало ему в работе над стихами.

Не погрешив против истины, можно сказать, что поэт проделывал огромную работу над каждой поэтической строкой. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с рабочими тетрадями поэта, которые мы имели счастье видеть у его вдовы Златы Константиновны.

Литературную молодежь поражала одержимость Александра Яшина поэзией, его серьезность, взыскательность, ответственность в работе над словом, требовательность к себе и к другим пишущим. Вспоминается выход в свет сборника стихов молодых архангельских поэтов «Беломорье». Много в нем было и незрелых, недоработанных стихотворений. И Яшин с присущей ему категоричностью высказал это авторам.

— Черти, мало поработали! А могли бы! — и он тут

же привел удачные строки Владимира Мусикова и Стефана Недзвецкого.

Перечить Яшину никто не осмелился. Авторитет его и тогда уже был очень высок.

Были у него, конечно, и недоброжелатели.

— Что он со своей коллективизацией вечно тычет... Или про Василия Мусинского заладил...— по-за глаза говорили некоторые.

— Я таким отвечаю просто,— заявлял Яшин, когда до него доходили такого рода суждения:— Чиркайте, как хотите, а я пишу по-мужички, основательно... Я в литературу вхожу, как плуг в борозду...

Ничто не оставляло его равнодушным. Он часами мог говорить о делах колхозных, близко принимая их к сердцу. И на скитания по вологодским лесам, охоту, рыбалку у него время находилось — неутомим был Александр Яковлевич. Высокий, чуть сутуловатый, он обычно шумно пробирался сквозь ельники, но умел ходить и неслышно, любил зоревать на озерах, поджидать медведя на лабазах. И во всякую охотничью или рыболовную затею он вносил непессякаемый задор. Порой огорчался неудачей (всякое бывает!), но умел и по-детски радоваться удачному выстрелу или красивой подсечке крупной рыбы. Много было у нас совместных походов, удач и неудач, досадных промахов и сладостных ощущений добычи.

А чего стоит свежесть лесного, настоящего на хвое воздуха и приятная усталость, когда гудят ноги и плечи! Живителен чай с брошенным в кружку смородиновым листочком. И как аппетитен запах чуть пригоревшей каши, аромат свежей ухи, в которой рыба «хвостом бьет».

Отдых или ночевка у костра располагали к долгим неторопливым беседам. Открывалась душа...

С ленинградским литератором Михаилом Александровичем, другом Яшина, мы встретились в аэропорту. Он уже собрался улетать.

— Михаил Александрович, дорогой, погости еще несколько деньков,— уговаривал Александр Яковлевич.

Поначалу тот наотрез отказался, но когда Яшин сообщил, что поедет на овсы, на медведя,— сдался. И вот уже наш штопанный-перештопанный газик ползет по проселочной дороге.

Шутки шутками, а ХБВ (хочу быть «виллисом») много лет служил нам верой и правдой. Этого трудягу видели в самых глухих уголках района — в Переселенье и Кеме, Зеленцове и даже в соседней Костромской области. Однажды Александр Яковлевич, попросив руля, решил обогнать нарядный «москвич». И, вероятно, обогнал бы, если б на ходу не отвалилось переднее колесо...

Мы едем на «козлике» в бригаду Шири колхоза «Родина». Стоит дивная августовская пора. Нещадно палит солнце. На вырубках мелькают малиновые пирамидки иван-чая. Кланяются долу усатые спелые хлеба. В оцепенении застыл сосновый бор.

В районной библиотеке накануне нам удалось раздобыть «Правду», и дорогой мы взахлеб читаем только что опубликованного «Теркина на том свете».

В низинке у речки лысые колеса «козлика» сбросило в глубокую, выбитую тракторами колею, и он капитально сел на оба моста. Заглушили двигатель. Александр Яковлевич направился вырубать вагу, а Михаил Александрович ловко орудовал лопатой, откидывая землю из-под дифера. Вагой мы подняли сначала переднее колесо, положили под него еловый кряж, застлали лапником. Потом то же самое проделали с задним колесом.

— А ну пробуй! — распорядился Яшин.

Проворный «козлик» легко выскочил из ловушки. В речушке мы помылись, посидели на бережку и отправились дальше.

Вот и Шири. Здесь много знакомых людей: механизаторов, полеводов, животноводов. На сей раз решили остановиться на почлег у учителя-пенсионера Петра Владимировича Глушкова.

Гости еще не зашли в избу, а гостеприимные хозяева уже хлопотали, накрывая на стол. И вот мы сидим за самоваром, уплетаем свежепосоленные боровые рыжики со сметаной, пьем чай с малиновым вареньем. Разговор идет о жизни, о колхозе, и, конечно, об охоте.

— Я вам устала на повети,— говорит жена Петра Владимировича.

Хозяевам пора на покой, да и нам не мешает отдохнуть. Решаем: на зорьке пешком отправимся в соседний починок, где пасутся на овсах медведи.

На повети аромат высушенных трав. Силимся заснуть, но не можем. А около полуночи, когда мы готовы были забыться, горласто запел петух. Он пел долго, и

Александр Яковлевич попытался его унять. Поднялся, подошел к петуху и сказал: «Перестань драть горло, дай поспать». Петух минуту молчал, а потом, когда Яшин снова улегся, закричал пуще прежнего.

— Ну и ори, карауль нас,— отступился Александр Яковлевич.

Над деревней вставало утро.

— Пора, братцы, пора,— поднялся Михаил Александрович.— На зорьке самая охота.

...В низинке у небольшой речушки мы слышали мелодичный посвист рябчика. Кто-то из нас достал манок — металлическую дудочку и попытался приманить птицу. Но хохлатый петушок на зов не откликнулся — затаился, молчал.

— Нельзя слишком часто повторять песенку. Птица замечает подвох,— шепотом сказал Яшин.

Он взял пищик, сделанный из пера глухаря и, тихонько отойдя от нас, подал голос. Получилось что-то вроде «ти-ти-тиу-ти...» И вскоре рябчик, вынырнув из чащи, уселся на еловый сук на виду у нас.

Поднявшись на угор, мы наткнулись на отпечатки крупных когтистых медвежьих лап. И тут же виднелись следы поменьше.

— Давно замечено,— пояснил Михаил Александрович,— что медведи и волки охотно пользуются при переходе дорогами-зимниками, тропами, просеками.

Вскоре лес заметно поредел, в нем стали преобладать белокорые березки, молодой зеленоватый осинник. На заброшенных пашнях росли мелкие ольховые деревца. Чуть дальше чернели скатами крыш избы заброшенного починка. За ним шли высокие холмы, заросшие хвойным лесом. А слева в низинке ширинская бригада посеяла овсы.

Лабазы на них были приготовлены заранее. Поэтому остаток дня мы провели у родничка с чистой студеной водой: готовили суп из рябчика, жарили на углях грибы, баловались чайком. Время пролетело быстро, и когда солнце стало цепляться за вершины островерхих елей, мы отправились в засаду.

— Михаил Александрович, есть шанс отличиться. Выйдут медведи — скомандуй: «В одну шеренгу становись! Первого стреляю, последний падай», — пошутил Александр Яковлевич.

Наши засидки поблизости одна от другой в самом углу овсяного поля. С моего лабаза хорошо видно Яши-



на, который устроился на березе, что вышла на опушку леса. Поначалу Александр Яковлевич ворочается, но, устроившись поудобнее, сидит не шелохнувшись.

Откуда-то взялись две сойки и, треща на весь лес, затеяли драку. Мы проклинаем задир, но ничем не выдеем своего присутствия. Наконец птицы улетели.

Придет ли медведь? Эта мысль не дает нам покоя. Солнышко уже скрылось за горизонтом, на землю опустились сумерки. Лес притих, молчит.

Нелегко сидеть на тонкой перекладине: затекают ноги, ноет поясница, да и комарики досаждают. Так и хочется встать, распрямиться. Но об этом можно только мечтать. И кашлять, и курить — боже избавь.

Но вот со стороны починка приполз густой, как вата, туман — метрах в пяти уже ничего не видно. Негласный руководитель охоты свистит рябчиком, сигнализирует электрическим фонариком. Мы слезаем с деревьев и собираемся в условленном месте. О неудаче ни слова.

— Э, да там кто-то есть, — Михаил Александрович показывает на мерцающий вдали огонек костра.

Как не подойти к людям! Оказалось — грибники из ближнего лесопункта.

— Ужинать с нами, — пригласил высокий мужчина в брезентовой куртке.

Он неторопливо отдирает от валявшейся на земле люльки-качалки сухие дощечки и бросал их в огонь.

Яшин внимательно осмотрел остов нехитрой деревянной колыбельки.

— И меня мать в такой качала, — вздохнул, скидывая с плеча ружье.

Сухое дерево затрещало, вздымая космы пламени. В теплых струях воздуха задрожала листва рябины, под которой был разложен костер.

— Спалишь рябину-то — посохнет. Не мог подальше разложить, — высказал недовольство высокому другой грибник.

— А тебе жалко, что ли? Хватит их... — Высокий молча отрезал ломоть хлеба, аккуратно поставил на землю котелок. — А помнишь, Иван, как тут лес корчевали? И уж опять березняк к самым избам прет, поля затянуло. Знамо дело, теперь жить здесь никто не будет. Так хотя бы поля заклеверили. Корма сколько взять можно...

— Как не можно, — отозвался Иван. — Руки, видно, не доходят.



— А рябину впрямь жалко,— раздумчиво произнес Яшин. Найдя разлапистую корягу, он стал отгребать от ствола рябины пылавший сушняк и угли.— Надоели разговоры: срубил дерево — посади два. От многого только разговорами и отделяемся. Под этой рябиной люди песни пели... — Он запрокинул голову и долго вглядывался в ночное небо.

— Отпели здесь они свои песни,— мрачно откликнулся высокий грибник.

— Они-то отпели,— согласился Яшин.— А вот другие, вот мы, например, видим эту рябину и радуемся. И дрозд вниманием ее не обойдет. По травинке — луг, по лесинке — лес собираются. А куда съехали с этого починка?

Грибник Иван охотно пояснил: кто на центральную усадьбу подался, кто в лесопункт, благо заработки хорошие, кто «на селедку» в далекий Мурман, кто в «большие города».

Разговор завязался сам собой. Знаток преимущественно архангельской деревни, Михаил Александрович нашел в ней многие общие черты с Вологодчиной.

— И все-таки особенности есть,— подчеркнул он, неторопливо потягивая чай из закопченной кружки.

— Да, у Вологодчины своя специфика,— поддержал Яшин.— Двенадцать тысяч крохотных деревенок. И у них множество именно своих особенностей и трудностей, которые неведомы другим областям страны. А знаете ли вы, что в наших краях численность мужского населения по сравнению с довоенной порой резко сократилась?

— Так ведь война-матушка... — Высокий грибник помешал палкой в костре.

— Не все война... И отток населения, главным образом сельского, в другие районы страны, в «большие города». В одном Первоуральске сколько наших! А в Мурманске! Да и в Архангельске. Наша Юг-река прямехонько в Двину впадает. Когда-то наши мужики на баржах хлеб да лен по ней отправляли. Брюкву недаром голанкой у нас зовут — голландкой, значит. Вот откуда пришла. Через Архангельск...

Яшин торопливо, запальчиво заговорил о запущенности сельского хозяйства в нечерноземной полосе и об ущербе, нанесенном ей волюнтаризмом.

— Материалы мартовского Пленума читали? — он обвел взглядом сидящих у костра.

— Так, вперед-то как жить будем, хотелось бы знать... — вопросительно посмотрел на него Иван. — Я, конечно, сейчас с мотопилой «Дружкой». А сродственники все деревенские, вся родня. И у него вот жена в колхозе, — указал он на высокого рыбака.

— Будем жить лучше, — улыбнулся Александр Яковлевич. — Но в общем-то как поработаем, так и проживем. Эта истина проще простого и на вечные времена... Вот рябину беречь надо, поля клеверить, дело свое делать хорошо. И глядеть правде в глаза. Перспективу иной раз упускаем из виду.

— Саша, а сам-то ты не упрощаешь кое в чем? — обратился к нему с вопросом Михаил Александрович.

— Я ж так просто, для повседневного обихода, как говорится. У костра много мыслей в голову лезет, как мошкara на огонь...

Давно мы собирались заманить Яшина в глухомань кемских лесов. На этот раз Александр Яковлевич согласился:

— Едем!

— Приехал погостить, а сам дома не ведешься, — вздыхала его мать Евдокия Григорьевна, хлопоча возле печки.

А Яшин между тем уже налаживал удочку, проверял патроны. На сборы ушло часа два, за вечерело. А тут ливень обрушился на землю, забарабанил по крыше...

К утру дождь выдохся, и мы двинулись в путь. Часа через три доехали до села Никольского, что километрах в семидесяти от райцентра.

Надеялись порыбачить в омутке на Лундонге: один из нас недавно облюбовал его — уж очень удачливой была там рыбалка. Но добираться до омутка непросто. Можно было продвигаться берегом реки, но тогда нам пришлось бы отмерить добрый десяток километров: Лундонга петляет, делает повороты — хоботы, как называют здесь излучины. Поэтому от села Никольского километров шесть мы ехали на «газике».

Проселочная дорога вывела нас на пожню, уперлась в ельник. Дальше уходила в лес лишь узенькая тропка. Мы еще раз проверили свои рюкзаки. С собой взяли самое необходимое: продукты, резиновую лодку, удочки, а Александр Яковлевич и ружье.

Идти было нелегко — за плечами увесистые вещмешки, одежда. Но все же минут через сорок мы вышли на заросший берег Лундонги.

Здесь продвигаться стало еще труднее. Едва заметную тропку преграждали сучья валежника, полусгнившие и почерневшие кусты ольшаника, заросли ивняка и молодых лип, черемушки.

На мочажнике из-под ног вырвался вальдшнеп. Ожиревшая птица долго и тяжело поднималась вверх, потом мелькнула среди желтых ветвей березки.

Вальдшнеп улетел, а Александр Яковлевич все еще продолжал держать ружье у плеча. Привык он к своему «зауэру», забыл, что у него ружье племянника — курковое и что прежде чем стрелять, курки взвести надобно.

— Эх, упустил, — досадовал Александр Яковлевич.

Но досада у него быстро прошла: добыча — это попутное, а в лесах, да еще кемских, лишний раз побывать — это считай за счастье.

Наконец мы добрались до заветного омуточка. Местечко приметное: река здесь круто поворачивает, а у правого бережка островок, заросший ивняком да пыреем по пояс. Только положили мы свои вещички на бережок, как Александр Яковлевич — за удочку. Пристроился на песчаном мыске, закинул. Полчаса минуло, а поплавок на месте, словно уснул. Тогда Александр Яковлевич из белого теста шарик скатал, на крючок насадил. И долго ворчал на изготовителя насадки: тесто тот дома на яичном белке сготовил, и когда замешивал, велел Яшин ему пять капелек растительного масла капнуть, а он не пожалел — чуть не полстакана вылил (маслом кашу не испортишь). Вот рыба и не трогала приманку. Так и выбросил Александр Яковлевич тесто в омут на радость лещам и подъязкам.

Хотя и не терпелось взять в руки спиннинги, но поначалу мы дровишек наладили. Натюкали сушняку, сваленную ветром березу на кряжи разрубили. Знали, что такое осенняя ночь на реке.

Вот уже и вечерняя зорька зажглась на небосводе. А в омутке тишь да гладь, хотя неделю назад воду здесь рябило от всплеска рыб — так возились подъязки. Александр Яковлевич, наверное, уже сменил десятое место. А мы принялись хлестать блеснами по воде. За весь вечер, пока не загустели сумерки, нам удалось выманить из-под круглых, как блины, листов водяных лилий одну щучку граммов на восемьсот. Да еще Яшин

выловил трех окунишек. И все-таки мы сварили добрую уху, а как отведали ее, даже Александр Яковлевич заулыбался и ворчать перестал.

Взошла луна — «медвежье солнышко», звезды зазглись. Тишина. Только шумливые осинки лопотали, перешептываясь о чем-то.

Речь зашла о людях сложной и трудной судьбы.

— Как ее понимать, эту самую судьбу, — задумчиво произнес Яшин. — Иной страдает от ожирения, Чехов еще об этом говорил. Страдают и от потворства к себе, от лени, своекорыстия. А иной мучается совсем по другому поводу: от повышенной ответственности за все, что происходит в нелегкой жизни нашей. Так-то...

Относил ли он эти слова к себе? Думается, да: то, что он говорил, всегда было выстрадано им. Мы-то знали, какое непонимание подчас он встречал даже у близких ему людей, с каким трудом ему приходилось иногда доказывать очевидные истины, бороться за правду. И несмотря на потери и утраты, не говоря уже о болезненных уколах самолюбия (а он был очень раним), Александр Яковлевич оставался мужественным и гордым человеком. Он не только не сломился, выстоял, но его стихи становились все нежнее и человечнее. Обо всем этом думалось у тихо угасающего костра...

Ночью Яшин то и дело ворочался, подвигая спину к самому огню. А когда утречком вскочил, его усы белели от инея, а на плаще сзади зияли три дыры.

— Устроили вы мне рыбалку, — усмехнулся он, протягивая к костру руки. — Чудо будет, ежели не заболею.

Начались осенние холода, потому и не клевала рыба.

В разной обстановке, при разных обстоятельствах приходилось нам встречаться с Александром Яшиным. Он всегда был дружелюбен, словоохотлив, любил перекинуться шуткой.

В мае 1966 года мы наведались к Яшину на Бобришный угор. Домик был не заперт, но хозяина не оказалось. На самодельном столике (смастерил его Василий Белов) лежали свежие газеты, томик Л. Н. Толстого, стоял транзистор. На стенах трофеи — распяленные утиные крылья.

Александр Яковлевич пришел через полчаса с букетом первых весенних цветов.

Сначала сидели на крылечке. Отсюда хорошо были

видны под угором затопленный ивняк с желтыми ба-  
рашками, воспрянувшая после долгой зимы река. Свет-  
тил закат, пели птицы, пробовали голоса лягушки.

Потом пошли в бор. Чистым он назван недаром: в  
нем, высокоствольном, прохладном, светлом, неизменно  
испытываешь ощущение чистоты, подобранности, све-  
жести.

Затешили небольшой костерок.

— Пламя сближает людей,— заметил Александр  
Яковлевич, бросая в огонь сухие сучки.— Наверно, от  
первобытных людей пошло.

Настроенные на шутливую волну, мы предложили  
Яшину дать нам небольшое интервью для районной га-  
зеты, совместив, так сказать, приятное с полезным. Он  
охотно согласился.

Первый корреспондент: Как вы живете и  
над чем трудитесь сейчас?

Яшин: На Бобринском угоре удивительно хорошо  
живется и дышится. И пишется. Не случайно этому  
угору я посвятил книгу стихов «Босиком по земле». Именно  
здесь писались в основном стихи этого сборни-  
ка. Немало побродил я здесь босиком: и по межам, и  
по лугам, и по лесным тропинкам. В моей работе был  
тяжелый и длительный перерыв. Сейчас хорошее, твор-  
ческое настроение. Очень хотелось, чтобы оно ничем не  
нарушилось и не омрачалось.

Второй корреспондент: И долго предпола-  
гаете здесь прожить?

Яшин: До тех пор, пока хорошо пишется. Прошу  
передать землякам, что эта изба построена мной для  
работы и чтобы отношение к ней было всегда доброе.

Первый корреспондент: Обязательно пере-  
дадим... А откуда вы, Александр Яковлевич, приехали  
сейчас в Никольск?

Яшин: Из Харовского района. Гостил у нашего та-  
лантливого прозанка Василия Белова. Приятно, что я  
в свое время находился у истоков его творческого пути,  
помогал ему. Когда вышла в свет первая книжка сти-  
хов В. Белова, я внимательно прочел ее и посоветовал  
заняться прозой. К моей радости, он внял моему совету.  
И посмотрите, как он пошел, как пошагал... Не всякий  
за ним теперь угонится. По моему мнению, Василий  
Белов может стать гордостью советской литературы.  
Почитайте-ка его повесть «Привычное дело», она в «Се-  
вере» опубликована...

Второй корреспондент: Какие произведения выходят у вас в 1966 году?

Яшин: В «Советском писателе» выйдет однотомник прозы. Издательство «Советская Россия» выпускает сборник стихов. Намереваюсь в этом году написать книгу стихов об охоте.

Второй корреспондент: Расскажите, кстати, как вы провели нынешний весенний охотничий сезон.

Яшин: Меньше всего меня интересуют результаты. Главное быть наедине с природой, наблюдать, ощущать ее. Несколько ночей мерз в шалаше на тетеревином току. Наблюдал петушинные бои косачей. Лесные куры сиделись прямо на шалаш. А вечера на тяге... Зори на утиных перелетах... Все было. Охота удивительным образом освежает, как хороший сон.

Первый корреспондент: Мы видели у вас на столике томик Толстого...

Яшин: Толстого не просто читаю — изучаю. Спросите в районной библиотеке. Мои формуляры испещрены этим именем. Взялся за «Историю искусств»... Хо-орошие книги есть в нашей библиотеке! Не зря она носит имя одного из основателей Григория Николаевича Потанина. Замечательный был ученый и путешественник. Не так уж долго в Никольске в ссылке находился, а какой след оставил! Справедливо заметил, что наш уезд чуть ли не самый дикий и неграмотный в России. Так он от слов-то к делу... Какую библиотеку заложил! Вот так и надо поступать. Видишь зло, недостатки, неправду — ополчайся на них. На других не уповай — сам впрягайся в первую очередь! Становись коренником, а пристяжные уж найдутся. Вот этому нас большие люди учат.

Второй корреспондент: Мы только что прочитали «Босиком по земле». Очень понравились стихи «Глазами Ленина», «Спасибо солнцу», «Дорога в небо». Это, конечно, этапные стихи. И, конечно же, очень понравился рассказ «Угощаю рябиной» в «Новом мире». Слышали, что он переведен на английский, французский, японский, испанский и другие языки. Знаем, что перепечатан он журналом «Семья и школа», а инсценировка этого рассказа передана по Центральному телевидению. Как вы сами оцениваете это произведение?

Яшин: Гм... трудное дело. Он многопланов... Действительно, для меня какой-то этап, перевал, что ли, с которого хорошо оглянуться и вперед далеко смотрится.

Вы сами хорошо его прочитали? Еще почитайте и поймете, что он для меня значит. Так-то друзья! А вот «Семью и школу», наверное, какая мысль подкупила: не будешь ухаживать за одомашненной рябиной, заботиться о ней — и запаршивеет дерево, ягоды станут мелкими, горькими. А ухаживать это не только холить — поливать, подкармливать, но и подрезать гнилые и сухие сучья.

Первый корреспондент: Какие перспективы перед литераторами открывают решения XXIII съезда нашей партии?

Яшин: Как и все советские писатели, рассчитываю на большие животворные перемены в нашей жизни. Советские писатели не мыслят своей работы в отрыве от народа, живут его мыслями и чаяниями. Вот и я стремлюсь работать так, чтобы оправдать высокое звание писателя, «совести народа»... А сейчас, товарищи интервьюеры, прощу в дом. Официальная часть закончена.

Александр Яковлевич тщательно затоптал костерок и поднялся. В зеленых сумерках видно было как мерцает весенняя Юг-река...

...Перечитываем письмо Яшина:

*«Дорогой Вадим Николаевич! Отрываю от сердца газетную вырезку, которую мне прислали из Архангельска с новым стихотворением,— да нет, всю газету pošлю. Это первая публикация. Будут и другие, в том числе в «Москве» и в новой книжке. Если есть возражения — сообщите.*

*С 24.XII дня на три-четыре буду в Вологде... Да если бы удалось найти берлогу, со мной, наверно, бы приехал и Конев Иван Степанович. Это наш никольский маршал. Привет. Александр Яшин».*

Речь в письме идет о номере газеты «Правда Севера» от 10 декабря 1966 года, где напечатано стихотворение А. Яшина «Вадиму Каплину, медвежатнику». А также Александр Яковлевич сообщает о возможном приезде на родину маршала Конева.

Иван Степанович Конев родился в бывшем Никольском уезде и в свое время работал уездным военным комиссаром в Никольске. Отсюда вместе с боевым отрядом он и направился на фронт в годы гражданской



войны. Никольчане бережно хранят память о прославленном полководце. В некоторых семьях здесь встречаются редчайшие фотоснимки.

Встречи с маршалом, по словам Яшина, оставили у него неизгладимое впечатление, послужили нравственной зарядкой к стихам последней поры.

— Я жалею, что не смог записать эти беседы, так сказать, по горячим следам,— признавался Александр Яковлевич.— Поражала военная эрудиция Ивана Степановича, его широчайший кругозор. И как верны слова о том, что это был полководец с душой комиссара, беззаветно преданный партии и народу.

Одному из авторов этой статьи, В. Н. Каплину, посчастливилось побывать вместе с Яшиным в гостях у маршала. Встретил их сам Иван Степанович. Пожал руки и любезно предложил раздеться. Затем пригласил в свой рабочий кабинет.

Все в нем было просто, обыкновенно: большой стол, накрытый сукном, магнитофон, стопка книг, чернильный прибор с красным гусиным пером, на маленьком столике два телефона, на стенах картины. Обращало внимание множество сувениров. Особенно выделялась модель ракетной установки, при помощи которой устремляются ввысь космические корабли.

Иван Степанович тогда уже был в отставке, но по виду ему никак нельзя было дать его шестидесяти девяти лет.

Родина полководца — деревня Лодейное Подосиновского района Кировской области. Раньше это был наш Никольский уезд, вот почему Конев считал никольшан своими земляками.

— Знаете, как мне впервые довелось побывать в Никольске?— спросил Иван Степанович.— Вместе с отцом гнали мы плоты с верховьев реки Юг, почти от самого Золотавина. А в Никольске была остановка...

За беседой незаметно пролетел час, другой.

— Очень хочется побывать в родных местах, встретиться с земляками,— признался Конев.

— Добро пожаловать!— пригласили мы.

— Многого не узнаете, Иван Степанович,— раздумчиво добавил Яшин.— А душа народа осталась прежней: стойкая, закаленная в трудностях, верная нашему общему делу.

— А как же иначе,— подхватил маршал.— Быть верным знамени — это и есть стержень души.



Иван Степанович взял блокнот, на листах которого стоял гриф: «Депутат Верховного Совета СССР», и написал приветствие вологжанам по случаю наступления Нового года. Вот его текст:

*«Дорогие товарищи земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 1967 годом, юбилейным годом 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Патриотизм и преданность трудящихся Вологодской области Советской власти за годы пятидесятилетия прославят их и впредь в успехах коммунистического строительства. Желаю вам всем здоровья и личного счастья и процветания нашего района. Ваш Конев.*

*21 декабря 1966 года. Москва».*

Потом маршал подарил нам по томику только что вышедшей из печати книги «Сорок пятый».

— А как насчет берлоги?—спросил Яшин у маршала.

— Вот танка два возьму, так можно на любую берлогу,— пошутил Иван Степанович. И уже серьезно продолжил:— Соберемся. Пусть только товарищ ваш депешу даст. У меня сборы недолги — по-солдатски.

Только охота так и не состоялась... Вскоре Александр Яковлевич попал в больницу, и ему уже не довелось живым вернуться на Бобришный угор, в родное Блудново.

Перед смертью Александр Яковлевич пожелал увидеться с друзьями. И в первых числах июня мы с управляющим объединением Сельхозтехника Николаем Михайловичем Воронным, которого очень уважал Александр Яковлевич, были уже в Москве.

По разрешению лечащего врача В. И. Кныш поднялись на пятый этаж, куда родным и близким больных было попасть всего труднее, и открыли дверь палаты. Увидев нас, Александр Яковлевич искренне обрадовался. Мы знали, что ему очень тяжело (он перенес три сложнейших операции), но он старался не показывать этого.

— Течет в моих жилах блудновская кровь, есть еще порохов... — заверил он нас.

Мы передали поэту букет живых цветов, поставили на столик баночку клюквы, или журавлихи, как любил называть ее Яшин, и банку свежего меда.

— Пивца бы еще нашего, деревенского,— сказал

Александр Яковлевич.— Не догадались, не привезли...— с укоризной взглянул он на нас.— Ну ладно, что поделаешь...

Позднее земляки поэта выполнили и эту его просьбу.

Забывшись на несколько секунд, Яшин очнулся, взглянул на сияющий белизной подоконник, на котором стояла сосенка, привезенная с Бобришного угора, сказал:

— Друзья, сейчас будет мужской разговор — слышите? Я хорошо понимаю, что дни мои сочтены, что я обречен. Моя просьба к вам исполнить мою волю, мое желание. Похороните меня на Бобришном угоре. Постарайтесь на заветном для меня месте организовать библиотеку. Пусть двери моего домика будут открыты для всех, пусть его посещают мои земляки, взрослые и дети. Пусть пишут там стихи, отдыхают, наслаждаются природой...

Показавшаяся в дверях медсестра дала нам понять, что пора уходить.

— Будьте здоровы, привет друзьям!— Это были последние слова, которые нам довелось услышать из уст Яшина.

Через месяц мы снова прибыли в Москву, чтобы выполнить последний наказ Александра Яковлевича.

...Утопающий в венках гроб с телом поэта установлен в Центральном Доме литераторов. Звучат траурные мелодии. Печальные лица тех, кто пришел проститься с поэтом. Здесь и его земляки-вологжане А. А. Романов, В. И. Белов, В. Т. Невзоров, никольский учитель А. А. Павлов. Тут же ленинградские писатели Ф. А. Абрамов и С. С. Орлов.

— У меня умер друг,— сказал В. А. Солоухин.— Об этом можно было бы не говорить во всеуслышание: у каждого умирают родные и близкие. Но умер человек, который был близок миллионам своих читателей и который считал всех людей своей близкой родней, потому что сам был хорошим человеком.

...На четырнадцать часов была назначена кремация. Но друзья Александра Яковлевича В. И. Белов, В. А. Солоухин и другие позаботились о том, чтобы доставить на родину не урну с прахом, а гроб с телом покойного.

Специальным рейсом вечером мы отбыли из столицы в Никольск. Серебристый Ли-2 пролетал над великой

русской рекой Волгой, над широкими просторами Родины. Когда подлетали к Вологде, в иллюминатор увидели семицветную, словно перо жар-птицы, радугу. Короткая остановка — и снова в воздух...

В аэропорту Никольска самолет встречали сотни земляков. Многие, желая проститься с писателем, допоздна ждали траурную процессию на улицах города. По желанию Евдокии Григорьевны, матери Александра Яковлевича, из аэропорта гроб был доставлен в Блудново.

Похороны писателя были поистине народными. Проститься с поэтом прибыли сотни земляков из райцентра, из ближних и дальних деревень.

Торжественно-траурный митинг открыл первый секретарь райкома КПСС.

— От нас ушел большой поэт, настоящий боец нашей партии,— сказал он.

— Трудно найти северного литератора, чья судьба не была бы так или иначе связана с именем Яшина. Мы шли к нему всегда, как к отцу,— выразил наше общее чувство благодарности к ушедшему из жизни писателю А. А. Романов.

Душевно и тепло говорил о Яшине и В. И. Белов:

— Я осиротел дважды. В 1943 году, когда убили моего отца, и вот недавно, когда скончался Александр Яковлевич.

Константин Георгиевич Паустовский, который был близко знаком с Яшиным, подарил ему свое собрание сочинений с такой дарственной надписью: «Александр Яковлевич, Саша, дорогой мой, прямой и мужественный человек, ни в чем не «сумлевайтесь», народ Вас отблагодарит за правду и вашу сыновнюю к нему любовь. Любящий Вас К. Паустовский».

Константин Георгиевич был прав: народ отвечает благодарной памятью Яшину. Его читают, свет его творчества распространяется далеко и широко, западая глубоко в душу и вызывая ответный отклик.

Преподнося в дар Никольской районной библиотеке имени Г. Н. Потанина свою очередную книгу, Александр Яковлевич обычно говорил:

— Поставьте на мою полку.

И такая яшинская полка существует. Большинство книг на ней — с автографами поэта.

В библиотеке проходят вечера, посвященные творчеству А. Я. Яшина. Звучат его стихи, и кажется, что сами стены сохранили дух поэта-правдолюбца.

Домик поэта, его могилу на Бобришном угоре летом и зимой, в весеннюю распутицу и по осеннему бездорожью навещают многочисленные почитатели таланта Яшина. В альбоме отзывов посетителей есть такие записи:

«Кто хоть раз припадет к поэтическому источнику Александра Яковлевича, тот обязательно заинтересуется его жизненным путем, его судьбой, и тогда никакие расстояния, никакие дела не смогут помешать тебе посетить те самые места, что были так глубоко им любимы и так прелестно воспеты им...»;

«В этой зимней, заснеженной холодной избе — столько тепла. За окнами ветер и предвечерняя мгла, а тут, в горнице, — и тишина и свет и покой, и эти чудесные, чистые сосновые стены вокруг. Нет лишь Вас, дорогой Александр Яковлевич... Кланяюсь Вам. Всегда помню Вас...»;

...И подлинным событием для никольшан было открытие памятника поэту-земляку в Никольске в 1972 году.

Знойное июльское утро. Солнце плавится золотом в верхушках огромных тополей. На школьном дворе — чуть ли не все население города. Медленно сползает вниз белое покрывало... Вот он, Александр Яшин, воплощение прямоты и честности. Резец скульптора М. В. Таратынова передал устремленный вдаль взгляд поэта.

Многие в этот день посетили музей, открытый в школе-интернате. Здесь находятся личные вещи Яшина, его охотничьи и рыболовные принадлежности, часть литературного архива.

Среди экспонатов музея — кандидатская карточка Союза писателей, подписанная М. Горьким и выданная в 1935 году А. Яшину, его членский билет Союза писателей от 1939 года, фотокопия комсомольского билета, удостоверение лауреата Государственной премии, удостоверение специального корреспондента «Сталинградской правды» и многие другие документы и фоторепродукции...

Живет вдохновенное слово поэта... Жива память о нем...

1975

## ПО-ЗЕМЛЯЧЕСКИ...

Много зим на своем балконе я кормлю птиц. Для синичек и воробушков мною сделана специальная кормушка — фанерный домик. В тот домик ежедневно с вечера сыплю хлебные крошки и горсточку-другую какой-либо крупы. В стенках домика с трех сторон есть отверстия, мелкие пичуги туда залетают, поклюют корм и свободно вылетают, соблюдая меж собою как бы очередность. Для галок и голубей в кормушку доступа нет.

Для синичек подвешиваю на ниточке кусочек свиного сала. Они его очень любят, особенно свежее, несоленое. Птички так привыкли ко мне, что, открой форточку,— не стесняясь залетят в квартиру. Меня птицы не боятся, клюют корм при мне, подам на ладони — возьмут и с нее.

Приходят друзья, завидуют тому, как я приучил птичек к корму. Уходят и обещают дома тоже сделать кормушки по моему методу. Многие уже и сделали.

Насыпая корм птицам в домик, я всегда вспоминаю доброй памятью поэта Александра Яшина, его знаменитое стихотворение «Покормите птиц»:

Покормите птиц зимой,  
Пусть со всех концов  
к вам слетятся, как домой,  
стайки на крыльцо...

Доброго человека вспоминаешь добром...

\* \* \*

Шел 1932 год. Архангельск — центр Северного края. Северный край тогда, до 1937 года, объединял теперешние Архангельскую, Вологодскую области и Коми АССР.

В Архангельске в 1932 году был созван краевой слет рабселькоров. Съехалось нас тогда много, по несколько делегатов из района. Солидная делегация рабселькоров

была представлена из Вологды. Для отъезда в Архангельск нам был выделен специальный вагон. К делегатам вологодской городской газеты «Красный Север» присоединились корреспонденты из Грязовца, Чебсары, Кубеноозерья и других районов. В пути к нам подсели рабселькоры из Сокола, Харовской, Вожеги, Няндомы.

Тогда я был делегатом от Кубено-Озерской газеты «Колхозное знамя» и, хотя только приобщался к газете, писал регулярно на разные темы. Райком комсомола поручил мне руководство районным штабом «легкой кавалерии». Эта комсомольская общественная организация в то время играла существенную роль в борьбе с бюрократизмом, волокитой и расхитителями государственной собственности.

В редакции работали замечательные ребята. Особенно добрая память сохранилась у меня о редакторе, молодом коммунисте Александре Яковлевиче Смуrove и секретаре Николае Васильевиче Чистякове. Они умели собрать вокруг газеты большой актив сельских корреспондентов.

Помню, как-то Александр Смуров приглашает меня в кабинет и с ходу:— Хочешь работать в газете?— спрашивает.

— Конечно, хочу...

— Тогда поезжай на краевые газетные курсы в Архангельск,— предложил он.— Да, кстати, там созывается краевой слет рабселькоров, побудешь и на нем...

На слете обсуждались острые вопросы жизни деревни. Выступали многие, спорили, делились опытом работы на местах. Крайком ВКП(б) устроил нам прием, лучшим корреспондентам были вручены Почетные грамоты и подарки. И Александр Яшин был отмечен в докладе как активный корреспондент и начинающий поэт из Никольска.

Молодых газетчиков-комсомольцев пригласили в краевой комитет комсомола, и здесь Яшин читал свои стихи. Мы слушали его с завистью, а он заметно волновался, когда ему аплодировали.

Помню, редактор «Северного комсомольца» Григорий Динов горячо поздравил молодого поэта и просил его держать связь с газетой, присылать стихи и прозу для печати. А потом мы всей группой молодых корреспондентов вместе с работниками крайкома ВЛКСМ и редакции «Северного комсомольца» сфотографирова-

лись. Эту фотографию давних лет я храню в своем альбоме и до сих пор.

Через два года после газетных курсов в Архангельске меня призвали в Красную Армию. Служил в Вологде, в полковой артиллерийской школе. Здесь издавалась многотиражная газета «Артиллерист», редактором которой был политрук Сергей Сапиго. Он-то и привел меня в литературный кружок при доме офицеров. Руководил им поэт Борис Непенин. Но не однажды приходил на занятия кружка и Александр Яшин, живший тогда в Вологде.

В 1937 году была образована наша Вологодская область. Городская газета «Красный Север» становится областной. Создается вновь и областная комсомольская газета «Сталинская молодежь». Первым ее редактором был назначен Константин Сопов, работавший в Кубенском озере замполитом по комсомолу в совхозе «Северная ферма», а до этого — в великоустюгской городской газете.

Меня из многотиражки строящегося льнокомбината «Стахановец на стройке» утвердили в молодежной газете заводделом внутрисоюзной жизни. В новом красном двухэтажном здании на улице Папанинцев (теперь проспект Победы) мы только обживались — шел ремонт. Все работники редакции, кроме редактора и секретаря, ютились в одной большой комнате.

Вспоминается жаркий июньский день. В помещении духота, окна открыты настежь. В комнате на всех сотрудников один телефон, поэтому он не умолкает.

Нашу редакцию еще знали мало, и посетители к нам заходили редко. И вдруг в нашей комнате появился высокий, стройный молодой человек в светло-сером костюме и модном галстуке. Я сразу узнал Яшина.

— Здравствуйте, товарищи газетчики!

Мы ответили приветствием.

— Где у вас тут редактор?

— Рядом, за тесовым барьером, — показали ему.

И уже через минуту оттуда послышались радостные приветственные возгласы.

— Здорово, поэт! Откуда и куда?

— Домой в Никольск пробираюсь, вот зашел вас навестить. Надо узнать, как вы тут начинаете будоражить молодежь области.



Оказалось, что Константин Сопов и секретарь редакции Володя Владимиров были и раньше знакомы с Александром Яшиным.

Вскоре редактор объявил, что у нас состоится товарищеская встреча с московским поэтом Александром Яшиным. На встречу были приглашены и другие газетчики.

Некоторые наши ребята уже печатались в областной партийной газете, а кое-кто и в столичной прессе. Но журналистами себя еще не называли. Это сейчас иной сотрудник районки или многотиражки напишет несколько рядовых заметок, работая в газете без году неделю, и гордо называет себя журналистом. Тогда было иначе.

И наша встреча с поэтом Яшиным была очень полезной. Он дал нам, молодым газетчикам, много добрых и нужных советов.

— Смелее беритесь за перо, пробуйте свои силы в прозе и поэзии. И больше читайте! Учитесь больше! И пишите только правду,— напутствовал он нас.

Александр Яшин тогда только что выпустил в Москве свою книгу стихов «Северянка». Из нее он прочитал нам стихотворения «Вологда», «Олена», «Снег», «Летчик Василий» и другие. И на память о встрече оставил нам сборник с автографом: «Комсомольской газете Вологодской (моей) области первый скромный подарок. VI.1938 г. Александр Яшин—Москва». Эта книжка «Северянка» вместе с другими яшинскими произведениями хранится в моей библиотеке на почетном месте.

В те дни у меня гостил друг журналист—тоже Александр Яковлевич—Смуров. Он в ту пору работал в архангельской газете «Северный комсомолец». И, будучи в отпуске, пробирался к себе на родину, в деревню Грязовецкого района. На несколько дней он остановился у меня и тоже присутствовал на встрече с Александром Яшиным. К моему удивлению, Смуров и Яшин оказались знакомыми, и вечером мы все вместе прошлись по городским улицам и скверам.

Кого-то из нас осенила мысль, а не съездить ли нам на утиную охоту. В редакции была своя легковушка—«эмка», и Сопов охотно согласился ехать с нами.

— Открывать утиную охоту поедem к нам,—предложил Александр Смуров.—Про Никольское озеро слышали?

— Слышали, но не бывали на нем.



— Вот и побываете. А уток там...—убеждал Смуров.—Моя деревня на берегу озера стоит. Уверяю, охота будет удачной. И батя, и мать будут рады, два года не был дома.

— Вот оно что, батю с мамой захотел увидеть. Так бы и говорил,—сострил Яшин.—Ну да ладно, не сердись. На Никольское—так на Никольское. Едем!

Ружья, патроны и другое снаряжение я без труда организовал через друзей-охотников. Вроде бы все было в норме, но вдруг у Яшина возникла новая проблема: на болото ехать—надо лапти, в ботинках по болотным озерам не пройдешь. Но и за лаптями дело не стало: их тогда продавали в охотничьем магазине, выбирай любые.

Шофер Толя Новицкий тоже оказался заядлым охотником и с радостью отправился с нами. Но больше всех, конечно, был доволен Смуров. До его Грязовецкой деревни ни мало ни много сорок километров с гаком. И не то что автобусы, туда и грузовые машины ходили от случая к случаю.

Смурова мы посадили рядом с водителем: дорогу знал только он. Кончились поля, начались перелески. Хорошо, что погода стояла сухая: в дождь нашей «эмке» по этим дорогам было бы не проехать.

Уже вечерело. В лесу стало совсем темно. Шофер включил дальний свет фар и вдруг круто тормознул машину. Светлый луч застыл на макушке сосны, стоявшей на обочине дороги.

— Глухарь на сосне. Видите, вон сидит,—указал Толя.

Я, не раздумывая, схватил ружье и, не выходя из машины, в открытую дверцу дал один за другим два выстрела. Могучая птица повалилась с дерева. И Толя первым рванул к ней. Мы также все высыпали из машины... И вот темно-серый с блестящим металлическим отливом лесной петух уже лежит в машине у ног охотников.

— Вот и жаркое! — сказал кто-то.

Но Смуров поспешил нас заверить, что жаркое батя сделает и без глухаря.

Александр Яшин взял птицу в руки и, нащупав куда угодила дробина, спросил меня:

— Каким номером бил?

— Нолевкой,—ответил я.

— Что, и уток палить таким будешь?

— Нет, уток осенью я стреляю только четвертым номером. А патроны с крупной дробью держу на всякий случай.

— Хорошо, метко бьешь... Все же ночь, а стрелял не близко,— похвалил меня Яшин.— И неожиданно закончил:— Ну а птицу все же жалко. Да и не время еще для отстрела глухаря.

— Так разрешили же осеннюю охоту,— оправдывался я.

— Разрешили, разрешили,— ворчливо повторил Александр Яковлевич. А потом с увлечением рассказывал, как он сам охотится в никольских лесах у себя на родине.

— У нас водоплавающей дичи мало, а с боровой хорошо. Охотники отстреливают осенью и зимой глухарей, тетеревов, куропаток и рябчиков и сдают их государству.

Так за разговорами мы подъехали к дому нашего друга.

Первым навстречу нам выскочил отец, а за ним вышла и мать Сашин Смурова.

Достав глухаря, мы предложили зажарить птицу, но дядя Яков (так Сашин отец отрекомендовался нам, и так мы его и стали называть) нас и слушать не захотел.

— Птицу везите домой. У меня и без этого найдется, чем угостить дорогих гостей.

Первым открыл охоту Толя-шофер. Он незаметно вышел на улицу — и вдруг несет двух здоровенных кракуш.

— Так я тут, в пруду, их взял.

Он почему-то сказал «взял», а не «убил» и потом это слово повторял не раз.

Дядя Яков предложил проводить нас в такое место, где утки жируют круглые сутки. Место это оказалось в полутора километрах от деревни. Там, кроме Никольского озера, много мелких пойменных озер и речка Комела. Здесь утки выводятся и живут до отлета на юг.

— Только будьте осторожны,— предупредил дядя Яков.— Места тут есть коварные: и глубоко и топко.

Мы разошлись в разные стороны. Уток в самом деле было много: кракуш, широконосок и даже шилохвосток. Чирки летали стайками и тут же опускались на воду, не обращая внимания на нас, охотников.

Александр Яшин был удивлен:

— У нас в Никольском районе есть озера, но столько уток не бывает. Я остаюсь вот у этого озера и никуда больше не тронусь,— заявил он.

Не успел я добраться до намеченного мною места, как позади раздались два выстрела подряд,— а потом отчаянный зов о помощи. Бегу обратно и вижу: Яшин барахтается в озере, в одной руке ружье, другой гребет к берегу, но плыть ему мешает густая выющая трава.

К счастью, мне подвернулась длинная жердина. Один конец я подал Яшину, и он выбрался на твердое место.

— Как тебя угораздило залезть в такую пучину?

— Сбил утку, вон лежит. Думал — мелко, сверху вода покрыта ряской. А там ил, и дно ногами не достать. А главное, плыть в этой тягучей траве невозможно.

— Правильно предостерегал нас дядя Яков.

Мы покинули это болотное озеро и нашли места понадежнее. И вскоре у нас уже было по несколько уток.

К нашему возвращению в саду Смуровых, прямо под яблоней, был накрыт стол: нас ожидало жаркое из свежей баранины, свежепросольные огурцы, зеленый лук. А мать Саши в честь приезда гостей напекла гору пирогов с разной начинкой.

Хорошо отдохнувшими вернулись мы с утиной охоты в Вологду. Это было лето 1938 года. С той поры ровно десять лет мне не доводилось встречаться с Александром Яшиным.

Следующая наша встреча произошла в ноябре 1948 года. Я тогда работал в Вологодском областном радиокомитете. Припоминаю, что сижу за столом в кабинете, готовлю очередную радиопередачу, и вдруг за дверью раздается вроде бы знакомый голос:

— Где тут мой земляк?

И на пороге появляется Александр Яковлевич. Он тогда показался мне еще более высоким, мощным, но немного сутулым.

— Здорово, земляк! А ты, брат, все такой маленький, только покруглей стал,— шутит Яшин.

— Не всем быть такими рослыми,— отшучиваюсь я и усаживаю Александра Яковлевича в кресло.

Мы вспоминаем грязовецкую охоту, говорим о новостях.

— А что, коль уж приехал в Вологду, наверное, надо выступить по радио с новыми стихами для вологжан,— предлагает Яшин.

— Рады будем,— подхватываю я.— На сегодня уже передачи сданы. А завтра вам отведем всю вечернюю.

При этом я допустил оплошность, потом и сам был не рад. Я сказал:

— Извиняюсь, Александр Яковлевич, у нас гонорар мизерный за выступления. Вологда — не Москва, сам понимаешь...

— Да, идите вы со своим гонораром куда-нибудь,— гневно вскинулся Яшин.— Для вологжан я не за гонорар выступаю.

На том и сошлись. Программу для литературной передачи мы не стали составлять. Позволили поэту читать свои стихи на свой выбор все тридцать минут отведенного времени.

И с каким вдохновением он читал! Мне почему-то особенно запомнился его «Призыв» из новой книги:

На рассвете у правления —  
Вся деревня, все селенье.  
По деревне мчатся кони,  
Словно в гонках на призы,  
Заливаются гармонии:  
Парни едут на призыв...

Стихотворение было написано в 1939 году. Поэт Яшин словно угадывал, что скоро начнется Великая Отечественная война.

Прочитал Яшин и свое стихотворение «Русские мы», которое относится к октябрю 1941 года — тогда поэт служил на Балтике, в морской пехоте. Из его сталинградских стихов прозвучали в передаче «Высота», «Не умру», «Моряк». Завершило передачу стихотворение, посвященное деревенской женщине — «Настасья».

На прощанье Яшин вручил свою новую книгу с автографом: «Александру Николаевичу Белову от земляка в добавление к «Северянке». Жму руку. Александр Яшин. 2/XI—48 г.»

Это была моя последняя встреча с большим русским поэтом, светлой души человеком, перед которым я всегда преклоняюсь.

## ОТВЕЧАЯ «ЯШИНСКОЙ РЯБИНКЕ»...

Письмо пришло ко мне из Вологды. В подписи трогательные слова «Яшинская рябинка»...

Это участники литературного кружка имени Александра Яшина, учащиеся ПТУ, обратились ко мне с просьбой рассказать о встречах с их замечательным земляком.

...Помню, было это в разгар блокады в Ленинграде, в начале февраля 1942 года, на двадцать второй линии Васильевского острова, где в здании Морской академии размещался тогда Пубалт. По инициативе оперативной группы писателей при политуправлении КБФ, которой руководил Всеволод Вишневский, здесь было решено провести совещание писателей-моряков.

Александр Яшин прибыл на совещание с переднего края, с Ораниенбаумского «пяточка», где он служил в политотделе Ижорского укрепрайона. Я слышал о том, как он ходил с моряками в разведку, читал его фронтовые стихотворения на страницах газеты «Красный Балтийский флот» и в выпускавшейся Пубалтом серии «Боевая краснофлотская поэзия» (эти сборнички у моряков можно было встретить повсюду — в казематах фортов, на бронепоездах, на КП аэродромов, в землянках морской пехоты). Но встречаться с Яшиным мне не доводилось.

Помещение, где мы разместились, было выстужено: сквозь выбитые, заколоченные фанерой окна с Невы проникал нестерпимый холод. Стоящая в углу «буржуйка», в которой теплился слабый огонь, не могла обогреть его.

Яшин вошел — высокий, худощавый, в черной заиндевевшей шинели и в командирской шапке-ушанке. Александр Зонин, знавший его по Ораниенбаумскому «пяточку», представил поэта остальным. Выглядел Александр Яковлевич усталым и сумрачным. Всю первую половину дня он добирался в Ленинград по льду

Финского залива — путешествие по тем временам весьма опасное. Но главное — Яшина потряс похожий на ледяную пустыню город с барханами неубранного снега, разбитыми, вкованными в лед трамваями и троллейбусами.

Доложившись по форме Вишневному, Яшин включился в будничные заботы нашего коллектива. Уже на следующий день ему вместе со мной поручили доставить для участников совещания новые книги Военмориздата. Издательство в то время уже было эвакуировано, оставался небольшой производственный отдел, каким-то чудом выпускавший небольшие брошюры.

Вишневский разрешил зайти за книгами и ко мне домой. Недавно я прочел в яшинских дневниках военных лет такие строчки: «С Азаровым ходили в ВМ и-во. Принесли 15 экземпляров Новикова-Прибоя — «Морские рассказы». У Азарова во дворе поленница трупов. Тела везут на санках — в одеялах и простынях. Гроб из фанеры — роскошь».

Когда продрогшие и усталые мы возвратились в политуправление, о нас уже беспокоились. В конце дня все участники совещания собрались вместе, чтобы послушать краткий обзор событий, с которыми обычно выступал Всеволод Вишневский, имевший доступ к широкой информации о положении дел под Ленинградом и на других фронтах.

Товарищи, возвратившиеся из передовых частей, рассказывали о том, что происходило там. Делились мы и новостями из писем, полученных от близких. И много и подолгу читали стихи.

В тот вечер мы слушали стихи Александра Яшина. Мне особенно запомнилось стихотворение «Землянка» — озорное и, казалось бы, вовсе не свойственное этому хмурому, на первый взгляд, человеку.

Моряки и в ус не дуют,  
Только строже глаз лихой —  
Окопались и зимуют  
У земли за пазухой...

А вот зазвучало другое стихотворение с эпиграфом из Пушкина — «О, поле, поле...»:

Где конец его и где начало? —  
За два дня вокруг не обойдешь.  
Рожь лежит: не ветром укачало —  
Танки с глиною смешали рожь.

Я глядел на своих товарищей... Глаза Вишневого увлажнились. Чувствовалось, что с волнением слушают поэта и остальные. А он читал задумчиво, негромко:

Полюшко родное!  
Светлый воздух.  
Политая потом грудь земли.  
Уцелели радуги да звезды...  
Чистым полем варвары прошли.  
Мы стоим — бушлаты нараспашку:  
— Ничего! Кренитесь, моряки!  
Час придет, возьмемся за распашку:  
Нам и поле поднимать с руки.

Стихи эти были как целебный глоток живой воды. Но неожиданно за окном послышался резкий стальной свист, потом грохот. Здание трянуло. Лихорадочно застучал метроном, из черного круга репродуктора послышалось: «Район подвергается артиллерийскому обстрелу». Надо было спускаться в бомбоубежище.

У меня сохранилась блокадная фотография того февральского писательского совещания. На ней — Лев Успенский, старший из нас, так же, как Яшин, прибывший с Ораниенбаумского «пяточка», из поселка Лебяжье, где размещалась его редакция. Лев Васильевич называл это место ласково: «Лебяжская республика». А вот Яшин, кажущийся на снимке намного старше своих двадцати девяти лет. Здесь и приглашенные на совещание Вера Михайловна Инбер и Вера Казимировна Кетлинская, и мои товарищи по балтийскому братству — Николай Браун, Анатолий Тарасенков...

В дневнике Александра Яшина имеется подробная запись об этом совещании. Он, как и все мы, понимал значение этого большого писательского сбора в тяжелые блокадные дни.

Яшин записал и речь Вишневого, который говорил о древних греческих певцах, воодушевлявших воинов в часы битвы, и о великом певце во стане русских воинов, безымянном авторе «Слова о полку Игореве».

Записано в дневнике и об одной из наших тогдашних встреч с партийным активом на Васильевском острове, в помещении райкома партии. Встреча посвящалась 700-летию битвы Александра Невского с тевтонскими псами-рыцарями на Чудском озере.

Это было в первых числах апреля. В тот день был массированный фашистский налет на город. Основной удар направлялся на корабли Краснознаменного Бал-



тийского флота, занимавшие боевые позиции на Неве. Но когда бомбы стали падать совсем близко, вечер пришлось прервать.

В «Дневниках военных лет» Всеволода Вишневского также есть запись об этой встрече: «Отбой... В зале немного людей, но для оставшихся энтузиастов мы с подъемом проводим вечер... Очень дошли до аудиторки стихи Яшина — и лирика, и юморески».

Время было холодное и голодное. И у Яшина развилась сильнейшая дистрофия, цинга. После кашля на платке у него часто оставались сгустки крови. Встал вопрос о немедленной эвакуации, а Александр Яковлевич не хотел уезжать из блокадного Ленинграда, чувствуя здесь себя на боевом посту.

К тому же он опекал одну близкую ему ленинградскую семью. И пока не решился вопрос о госпитализации старшего в семье, кадрового ленинградского рабочего, и об отправке через кольцо блокады его предельно истощенной дочери Ольги, Яшин делал все, что было в его силах, для их спасения.

И еще Александр Яшин непрестанно писал стихи.

Именно тогда он задумал свою «Ленинградскую поэму» — о судьбе семьи Рожавиных, но писал ее долго, мучительно. Поэма была опубликована посмертно, тридцать четыре года спустя после описываемых событий. А начиналась еще в блокадном Ленинграде.

В последнюю нашу встречу, за два дня до отъезда, Яшин читал мне вступление к «Ленинградской поэме»:

...Снаряд упал в сугробы, на бульвар —  
И снег, как магний, вспыхнул за оградой.  
Откуда-то свалился самовар —  
С балкончика, наверно?  
И пожар,  
Опять пожар.  
И новый взрыв снаряда...

Строчки эти навсегда врезались мне в память. А тогда, слушая их, я с болью смотрел на заострившиеся черты лица поэта...

О чем мы говорили в эту последнюю апрельскую встречу? Впрочем, об этом лаконично и достоверно рассказывает в дневнике сам Яшин: «Азаров сидел, пытался у меня работать, не вышло. Долго разговаривали. Я рассказывал о своей семье... он о своей. (10 лет женат. Есть дочка маленькая. Жена — фото). Азаров —



одессит. Что с отцом (врач) и с матерью, не знает. Написал 15 строк поэмы».

Двумя днями позднее больной Александр Яшин отбыл в Москву. Но оттуда он выехал не в тыл, а на корабли Волжской военной флотилии под Сталинград, а затем был переведен на Черноморский флот. Служил редактором краснофлотской газеты, политработником. Я аккуратно пересылал на сообщенную им полевую почту приходящие на его имя письма, получал весточки и от него.

У меня сохранились исписанные убористым почерком странички письма, отправленного с Черноморского флота. Вот оно:

10.XI.43 г.

*Дорогой Азаров!*

*Наконец могу сообщить свой постоянный адрес:*

*Полевая почта 70043-Б, А. Я. Яшину.*

*За то, что ты написал-таки мне единственное письмо (это не так, я писал и прежде, но, видимо, из-за перемены адресов, мои письма к Яшину не доходили.— В.А.), спасибо. В ответ я пишу, наверное, 3-е или 4-е.*

*Что я тебя не забыл, это и говорить нечего. Тебя нельзя забыть, как Ленинград. Нельзя забыть о том концентрате гречневой каши, кот. ты дал для умирающей семьи, о которой я заботился. Тогда это меня очень взволновало, очень.*

*За статью в «Звезде» спасибо (речь идет об очерке «Письма с Балтики» — «Звезда», 1943 г., № 1, в котором, рассказывая об оперативной группе писателей КБФ, я говорил и о А. Яшине — В.А.).*

*Но ведь ее надо мне иметь, а где же я ее возьму, если ты не вышлешь сам, вырвав хотя бы с мясом у других или из своей библиотеки.*

*Пришли, брат, пусть увидят хоть один ленинградский журнал и на Черном море.*

*Пошли и «Ленинграду» и др. Поверь, в долгу не останусь.*

*Я задумал сделать книжку «Посвящения» в которой будет три цикла: поэтам, дружбе, любви.*

*В первом разделе есть тебе, В. В. Вишневскому.*

*Много уже написано. Ленинградская поэма все еще в работе. Сталинградские этюды «Город гнева» вышли в «Молодой гвардии» и Военмориздате.*

*Сейчас пишу, насколько успеваю (Я зам. ред. одной*

газеты), книжку стихов «Сыну с фронта»... О возвращении на Балтику мне пока нельзя и думать, сюда перевели по состоянию здоровья.

Меня уже хотели было эскулапы демобилизовать, но я подлечился за 1—1½ мес. в Кисловодске, перевелся на юг и снова живу.

Куриль не курю. Клятву держу. Один раз был срыв из-за того, что мне пришлось курить астматол (у меня появилась бронхиальная астма), но я быстро справился, когда слег.

Куриль просто нельзя стало совсем.

На твоей родине я, наверное, буду раньше тебя.

Пиши, если что будет надо с Черноморья, все сделаю.

А вот ты, кроме «Звезды» и своих сборников, мог бы мне еще один неповторимый подарок сделать.

У меня нет ни одного сборничка из серии «Боевая к/фл. поэзия» с моими стихами, кроме «Отстоим Ленинград».

Сейчас мне все они стали дороги, даже и без моих стихов, а после отъезда — знаю — были и с моими.

За любую книжку в ноги бы тебе поклонился.

Будь здоров. Сообща пож. <алуйста> мой адрес Всеволоду Витальевичу.

Александр Яшин.

Я понимал, как дорого было Яшину все связанное с Ленинградом и постарался выполнить его просьбу.

«Ленинградская поэма» появилась в журнале «Наш современник». В ней — быт войны, страшная тяжесть блокады и в то же время торжество человеческого духа над смертью. Я читаю сегодня с гордостью и болью ее заключительные оптимистические строки... Их писал мой товарищ.

И мне радостно оттого, что стихи Яшина живут и делают добрые дела, что земляки чтут и тепло вспоминают своего поэта, оттого, что в Вологде существует «Яшинская рябинка», молодые ростки которой тянутся к поэзии.

## КАКОЙ ОГОНЬ ПЫЛАЛ В ЕГО ДУШЕ...

Поэта Александра Яшина я знал давно, но личное знакомство с ним состоялось только в шестьдесят втором году. Вот как это было...

24 декабря оба курса ВЛК\* с преподавателями и руководителями творческих семинаров были в Дубне, знакомились с институтом ядерных исследований. Вечером в столовой института состоялся прощальный обед. За столом я оказался напротив Яшина и его дочери Наташи, но старался не подавать виду, что мне страшно хочется с ним познакомиться, хотя все время думал, о том, что рядом Яшин.

В конце концов это какая-то дикость — не быть с ним знакомым. В Архангельске, где Яшин бывал неоднократно, мы почему-то не встречались. Но ведь сейчас он ведет у нас творческий семинар на втором курсе, и я частенько вижу его. В общем я чувствовал себя неловко: мне казалось, что в несостоявшемся нашем знакомстве виноват я один.

От Александра Яковлевича, как видно, не укрылось мое состояние. Со свойственной ему прямоотой и резкостью, за которой, как я узнал потом, он частенько скрывал боль своей легко ранимой души, Яшин, называя меня по имени-отчеству, как давнего знакомого, заговорил вдруг с нескрываемой обидой о том, о чем я сам только что думал. Он говорил, что не понимает таких людей, да еще земляков, которые даже не раскланиваются при встрече, что это совсем ненормально.

— Наверно, я сам виноват, раз не подошел познакомиться первым, но и вы не без вины. Может быть, я обидел вас чем-нибудь? Хотя, ей богу не представляю, как и чем мог обидеть.

---

\* Высшие литературные курсы в Москве.

Я несколько раз порывался сказать что-то в свое оправдание, но делал это, очевидно, очень робко.

— Вы думаете, я не знаком с вашим творчеством? — лукаво посмотрел на меня Александр Яковлевич. — Нет, земляков я стараюсь читать... Читал немного и вас. Все думал — зайдете ко мне на Лаврушинский... У меня, наверно, все перебывали архангелогородцы, один Жернаков не бывал. Не так давно давал я в «Лижи» (так и называл Александр Яковлевич газету «Литература и жизнь») вводочку к стихам архангельских поэтов, был там упомянут и Жернаков, хотя вы и не поэт. Нарочно это сделал — думал как-то откликнетесь... Ну скажите все-таки, Николай Кузьмич, в чем дело?

Я чувствовал себя так, что хоть сквозь землю провалиться. Ведь говорил-то со мной сам Яшин, автор стихотворений о колхозном конюхе, который получив за труд медаль, перед народом не мог слова сказать, а в конюшне перед лошадьми, раскрыл свою душу. В это стихотворение я был тогда прямо-таки влюблен и при случае всем читал его на память. И, стараясь скрыть свою растерянность, я стал сбивчиво объяснять, что, мол, Яшиных не так уж много на Руси, чтобы мне навязывать ему свое знакомство.

Александр Яковлевич как-то вдруг весь переменился: лицо просветлело, голос потеплел (мне и потом не раз приходилось наблюдать эти мгновенные перемены в нем).

— А ведь я думал о вас несколько иначе, — улыбнулся он дружески. — Ладно... Не будем считаться, кто выше — Яшин или Жернаков. Мы ведь с вами погодки, кажется... И у нас еще все впереди. Так или нет? Или вы думаете иначе?

Остаток времени за обедом и обратную дорогу в Москву в автобусе мы разговаривали без напряжения обо всем, как хорошие знакомые. И я посчитал было, что мы с ним стали чуть ли не друзьями. Но, оказалось, до дружбы было еще не близко.

Встречаясь потом на ВЛК, мы очень сдержанно здоровались — и только. Я пытался заговорить, но Александр Яковлевич холодно и как-то неловко уходил от разговора. Он словно давал мне понять, что имеет что-то против меня.

Так оно и оказалось на самом деле.

Был у меня на ВЛК заведен своеобразный альбом, названный с большими претензиями «Золотой книгой»

Северной Двины», в котором, подобно тому, как на столе К. И. Чуковского в Куокале, расписывались и оставляли свои экспромты известные люди литературы и искусства (к слову сказать, этот альбом пополняется новыми именами и поныне). Улучив удобный, как мне казалось, момент, я предложил Александру Яковлевичу написать в нем что-нибудь на память землякам-северянам.

Он взял альбом в руки, как-то недоверчиво, с опаской полистал его, потом спросил — опять же прямо и резко:

— Скажите мне... только честно, Николай Кузьмич: вы не приложили руку к этой... галиматье, которую так усердно организуют против меня перестраховщики, делая вид, будто они выступают от имени своих земляков?

Я понял, о какой «галиматье» он говорит. Сначала вокруг рассказа Яшина «Рычаги», а совсем недавно вокруг его «Вологодской свадьбы» была поднята неумная и оскорбительная для писателя шумиха в газетах и журналах. Было даже организовано и опубликовано в печати письмо, будто бы написанное земляками Яшина, в котором он резко критиковался за якобы искаженные, негативные картины жизни северной деревни.

Несправедливая и оскорбительная эта критика больно ранила сердце писателя-коммуниста Яшина, вся жизнь и все творчество которого говорят о его горячей любви к Родине, о его бескомпромиссной борьбе с любыми недостатками, мешающими народу жить и строить свое светлое будущее.

Что там ни говори, а на поставленный по-яшински резко и прямо вопрос и отвечать надо было так же. И я с горечью ответил, что неужели он во мне мог хоть на минуту заподозрить что-то от породы так называемых перестраховщиков? И тут же рассказал ему, как мы с поэтом Михаилом Скороходовым обращались в «Литературную газету» со статьей-протестом против его травли.

— Ее, конечно, не опубликовали? — с утвердительной усмешкой спросил Александр Яковлевич.

Удивительный это был человек! В нем необыкновенным образом сочетались нежный лирик и гневный обличитель.

О его высокой партийности и глубокой коммунистической идейной убежденности говорит все его творчество. Для примера мне хотелось бы привести отрыв-

вок из стихотворения «Сыну, вступающему в партию».

Да, нам всегда была близка мечта,  
И не корысть кидала нас в сраженьс.  
В нас жили смелость, самоотречение  
И ленинского сердца чистота.  
А повстречаешь, сын мой, на пути  
Стяжателей, каких и мы встречали,  
Знай: это просто накупь на металле,  
Окалина,— ее должны снести.  
Для коммуниста легкой жизни нет.  
Готовься не к парадам, а к походам  
И помни: ты от самого народа  
Сегодня получаешь партбилет.

Это написано кровью сердца. Это кодекс всей жизни коммуниста Александра Яшина, и от него он не отступал до самой кончины. Незадолго перед смертью он обратился к братьям по перу с напутственным словом, в котором с пронзительной чистотой прозвучали все те же мотивы этого жизненного кодекса.

В тот день, когда у нас состоялся нелегкий разговор, Александр Яковлевич сказал мне, что ему сейчас живет очень тяжело, так что не удивительно и сорваться, и огорчить ни в чем неповинного человека.

— Забудем мои дурацкие вопросы и никогда не будем вспоминать об этом,— попросил он. И достал из кармана самописку.— Напишу-ка я в вашу «Золотую книгу Северной Двины» свежие стихи, они еще нигде не опубликованы.

Так в «Золотой книге...» появились «Желтые листья...» в первой редакции. У меня сохранились письма Яшина — дорогая память о наших взаимоотношениях, но самый дорогой и щедрый подарок Александра Яковлевича — это, конечно, стихи в альбоме. Я не самообольщаюсь, что этот подарок был сделан им тогда лично мне, а думаю, Яшин хотел оставить память по себе дорогим его сердцу архангелогородцам: было время — в Архангельске Александр Яковлевич жил и работал, и он навсегда, как говорил мне, сохранил самые добрые чувства к этому городу и его людям.

Уже нет на земле поэта Яшина, но он продолжает разговаривать с нами со страниц своих книг так же доверительно, правдиво и честно, как умел это делать при жизни.

Еще при жизни Александра Яковлевича кое-кто говорил, что у него тяжелый характер, что этот человек

«весь из углов, и все углы острые», но кто знал Яшина поглубже, тот мог только восхищаться его прямою и предельной искренностью — отличительной чертой его характера, являющейся выражением всей сути его как поэта, прозаика, человека.

Жизнью своей Яшин учит, каким должен быть советский писатель, как он должен служить своему народу, как обязан для него писать только правду, какую бы она ни была. Своей предельной искренностью и обнаженностью чувств Яшин духовно близок большому русскому поэту Сергею Есенину.

Александр Яшин — лирик в поэзии и в прозе, лирик в самой основе своего творчества — в мироощущении. Возьмите любую книгу его стихов и прозы, и вы увидите, какая обнаженная до предела любовь к Родине владела его пером, какая сила этой любви несла на своих крыльях все его творчество.

Считаю, что мне выпало счастье быть лично знакомым с большим поэтом нашего времени Александром Яшиным, слышать его задушевный, немножко глуховатый голос, попросту разговаривать с ним, как с товарищем. Но хотя мы были, по его словам, погодки, я чувствовал себя рядом с ним так, как может чувствовать себя подросток со взрослым умным и доброжелательным к нему человеком. Я понимал, что за его плечами была не только многотрудная и сложная судьба, но и всесоюзная известность и слава.

А он был прост во взаимоотношениях, но не позволял и панибратства: мы с ним до конца были на вы, и переписку нашу отличала корректность, что, безусловно, только подчеркивало высокую культуру этого человека.

А как естественно и просто умел он поддержать и помочь в трудную минуту. Помню, было такое — не писалось. Александр Яковлевич тогда как раз приехал в Архангельск, и мы чаевничали у меня на квартире. В разговоре я очень самокритично оценил свои писания и ждал, что он скажет. Но Яшин не стал ни поддерживать, ни разуверять меня.

Однако, как только появилась моя повесть в журнале «Юность» («Поморские ветры»), он тотчас написал мне: «...поздравляю с серьезной удачей!» И дальше уж совсем по-яшински распахивается его сердце: «...хочу признаться, что полностью был согласен с Вашей собственной резкой оценкой предыдущей Вашей книжки,



которую я читал в Архангельске. Мне не хотелось огорчать Вас, я не поверил, что Вы искренне говорили тогда».

Примеров его чуткости, дружеской деликатности, удивительной личной скромности можно привести много.

Появилась повесть «Сирота» — вещь, на мой взгляд, достойная яркого яшинского дарования. Александр Яковлевич и в прозе оставался поэтом, и нельзя не пожалеть, что многое из задуманного им ему не суждено было написать. Но и то, что он успел сделать, — пример высокой требовательности к художественному слову. Такие вещи, как «Угощаю рябиной», «Сирота», можно смело поставить в один ряд с лучшими рассказами и повестями российских писателей. Об этом я написал небольшую статью, которая была опубликована в областной газете. И вскоре получил письмо от Яшина с его сердечной благодарностью. Сколько писали о нем профессионалы-критики в центральной печати, а ведь вот нашел время отозваться на мою статью. Чтобы порадовать товарища, поддержать его, Александр Яковлевич всегда был готов забыть о своих делах и здоровье. Он всегда спешил туда, где нужна была его помощь.

Не побоюсь предстать перед читателем нескромным, цитируя некоторые строки из писем знаменитого писателя ко мне...

Случилось так, что на приглашение приехать на мой пятидесятилетний юбилей не было получено от Александра Яковлевича никакого ответа. Правда, он не особенно любил писать письма. «Худо-хорошо, в наше время их заменяет телефон», — нередко говаривал он. Но и телефонного звонка не было.

И вот несколько строчек из его извинительного письма, которое и сейчас не могу читать без глубокого волнения.

*«Я только сегодня вышел из больницы... Разбираю почту. Обрадовался, что мое письмо еще успеет прийти к Вашему юбилею, а то подумали бы черт знает что...»*

Но главное ведь не в юбилее — главное в том, как трудится писатель, на что тратит быстротекущее время. И последующие строчки уже бегут из-под пера сам собой: *«...для всех нас совершенно необходимы усилия перешагнуть через самих себя»*. И опять же из его бескомпромиссного жизненного кодекса: *«Для коммуниста легкой жизни нет...»*



Он не жалел себя для того дела, которым жил, которому принадлежал до конца. Даже в частном письме Яшин обращался не к одному человеку, а ко всем, кто причастен к литературному цеху, к борьбе посредством художественного слова за счастье своего народа: «для всех нас...»

Он не искал легкой жизни, когда в 1962 году выступил с «Вологодской свадьбой». Написанная с болью и тревогой за судьбы деревни, она прозвучала тогда подобно «Районным будням» Валентина Овечкина. И подобно им очень трудно пробивала дорогу к массовому читателю, благодаря той недоброй памяти критике, что хотела отгородиться от живой жизни. Надо же было приклеить ярлык — «очернитель действительности»! А Яшин говорил тогда пусть и трудную правду — полным голосом.

На поверку оказалось, и самой жизнью подтвердилось, что писатель стремился проникнуть в глубинную суть жизни северной деревни, что его художественное слово призывало читателя к неустанной борьбе со всем, что мешает нашему движению вперед.

Вспоминая своего старшего друга Александра Яковлевича Яшина, поэт Александр Романов в письме ко мне восклицает: «Какой огонь пылал в его душе!» И с ним нельзя не согласиться.

Незадолго до смерти, при встрече в Москве, Александр Яковлевич, в разговоре со мной о месте литературы в жизни народа, еще раз напомним о том, что для всех нас необходимо находить в себе силы «перешагнуть через самих себя», что этого требует совесть художника, горячо сказал:

— Главное в нашем деле — быть Человеком. Никогда не опускаться до полуправды. Полуправда — страшнее лжи.

В этих словах весь Александр Яшин — писатель, человек, боец.

## «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!..»

В один из дней конца октября 1958 или 1959 года ко мне на квартиру зашел поэт Александр Романов и сказал, что в помещении областного издательства (еще в старом доме по улице Чернышевского) состоится собрание литературного объединения, на котором должен присутствовать приехавший из Москвы Александр Яковлевич Яшин. Романов предложил мне принять участие в собрании и почитать на нем стихи.

Кому же было не известно имя Яшина! Поэтому не преувеличу, если скажу, что собирався я на этот вечер с бурей чувств в душе...

Когда дошла очередь до меня, я, несказанно волнуясь (и от волнения — очень плохо), прочел три-четыре коротких, в восемь строк, стихотворения. И, сказав, что больше не помню наизусть, в смущении сел на место. Но Александр Яковлевич попросил у меня тетрадь со стихами, которую вскоре прочел и похвалил меня.

С его помощью и была решена участь моей первой книжки, вопрос об издании которой он тут же поставил. Такой чуткости и отзывчивости можно было ожидать только от него.

Помню еще, что через несколько дней после этого мне впервые вместе с Яшиным и впервые вообще — пришлось выступать перед читательской аудиторией. Опять же донельзя волнуясь (с чувством — провалиться бы на этом месте!), я невнятно прочел те же короткие пейзажные стихи. И тут Александр Яковлевич, видимо, желая спасти меня от провала, вдруг говорит: «У вас там есть лучше. Прочтите вот... (он назвал, что)». Я отвечаю, что не помню эти стихи. И тогда он встает сам, раскрывает мою тетрадку (она была при нем) и мастерски, донося до слушающих все оттенки, читает два моих стихотворения. Этим он преподавал мне хороший урок. Честно говоря, после этого мне стало не так страшно выступать перед людьми, перед аудиторией...

Второй раз я встретился с Яшиным в марте 1960 года, когда он приехал в Вологду на семинар молодых авторов. Тогда он выступал перед вологжанами со своими новыми стихами «Спешите делать добрые дела!..», «Орел» и другими. Со второй половины пятидесятых годов творчество Яшина как бы вступило в новый период. Его стихи и проза обрели новое звучание, новое качество — небывалую пронзительность и открытость, сопричастность тревогам и надеждам людей, бурям и перспективам века.

Нет нужды говорить, как это действовало на нас, молодых, выступавших вместе с большим русским поэтом. От одного его присутствия вырастали крылья...

На поэтическом семинаре, которым руководили Сергей Викулов, Сергей Орлов, Александр Романов, кроме меня получали «крещение» Василий Белов, Виктор Коротаев, Олег Кванин, Игорь Тихонов, Федор Голубев и другие. Яшин, уделявший внимание и группе прозаиков, зорко следил за работой нашего семинара. Именно тогда он предсказал интересно работавшему в поэзии Василию Белову (книжка стихов Белова вышла через год) его дальнейший путь в прозе и победы на этом пути. Что касается меня, то Александр Яковлевич не только благословил мою первую книжку (вышла она летом того же 1960 года), но и помог опубликовать мои стихи в московском «Дне русской поэзии» и в «Литературной газете» (со своим предисловием), а также устроил две радиопередачи по Всесоюзному радио.

Когда вышла моя первая книжка, я сразу же послал ее Александру Яковлевичу. А он написал мне ответное письмо, где радовался за меня, поздравлял, но и призывал серьезно работать дальше.

Вспоминаются и дни вологодской литературы в Москве (лето 1961 года). Мы выступали в институтах, на предприятиях, в учреждениях — и всюду душой и верховодом наших выступлений был Яшин. Он, единственный тогда среди нас известный писатель, привлекал внимание своим именем и авторитетом, и к тому же умело оживлял обстановку остроумными репликами и шутками. В заключение встречи он непременно выступал сам со своими великолепными стихами и с импровизированными рассказами о земле вологодской.

Летом того же года Александр Яковлевич, зная, что я занимаюсь переводами, прислал мне несколько под-

строчников стихов литовских поэтов для готовившегося тогда к изданию в Москве сборника литовской поэзии. Правда, не имея опыта работы с подстрочниками, я в то время не смог на должном уровне выполнить эту работу, и первый же перевод, отправленный мной в Москву, был забракован редактором. Но как бы то ни было, я не мог не испытывать благодарности к Александру Яковлевичу за то, что он пытался ввести меня в более широкие сферы работы в литературе. «Спешите делать добрые дела!..» — призывал он в своих стихах. И сам поистине спешил делать их.

Однако было бы ошибкой думать, что Яшин всегда был только добрым. Нет! В первую очередь он был взыскательным и справедливым. Нелицеприятно, прямо в глаза, говорил он суровую правду, если этого требовало дело. На том же самом поэтическом семинаре 1960 года, о котором уже шла речь, он вынес жестокий приговор стихам некоторых авторов. Очень хорошо помню я и суровый, но крайне полезный урок, который Александр Яковлевич преподавал мне два года спустя, ознакомившись с моей новой рукописью, где оказалось много скороспелых и слабых стихов. После такой оценки столь взыскательного судьи их постигла незавидная участь: я сделал с ними то, что и нужно было сделать — отправил в огонь. Требовательность Яшина послужила мне зарядом для более серьезной работы в дальнейшем.

Прошло еще два года, и Александр Яковлевич снова поддержал меня: когда вышла моя вторая книга (конец 1963 года) и встал вопрос о приеме меня в Союз писателей, он первым выслал мне свою рекомендацию. Он же показал мои книги Леониду Николаевичу Мартынову, жившему в тридцатые годы в Вологде, и попросил у него рекомендацию для меня. Был Яшин и на заседании приемной комиссии. И сразу после нее послал мне поздравительную телеграмму... Да что говорить!

Под словами благодарности Александру Яковлевичу за поддержку и помощь в трудный час или нужный момент могли бы подписаться и Сергей Викулов, и Александр Романов, и Василий Белов, и Виктор Коротяев, и Олег Кванин, и Николай Рубцов, и Сергей Чухин... Глава и староста вологодского литературного «цеха», он всем помогал дружелюбно и бескорыстно.

Вспоминается мне и то, как обиделся на меня Яшин, когда я не послал ему третью книжку, вышедшую в 1966 году. Я был недоволен ею и никому не хотел дарить. Но когда выслушал упрек Александра Яковлевича, мне стало и стыдно, и горько: ясно, что я обидел его, хотя и не хотел этого.

Помню и теплоход («последний пароход», как назвал его в стихах на смерть Яшина Николай Рубцов), на котором мы в 1967 году плыли по Волго-Балту от Череповца до Вытегры. Было что-то радостное и одновременно что-то очень печальное в этой поездке на пороге осени. Доверительные беседы Александра Яковлевича стали как бы его завещанием нам.

...Хранится у меня несколько его писем — небольшие весточки, написанные неизменно сердечным, доброжелательным, отеческим тоном. Хранится и номер «Литературной газеты» с его напутственным словом.

Летит время... Вологодская писательская организация пополняется новыми силами. Но как горько, что нет среди нас нашего правофлангового, одного из лучших и талантливейших сынов земли вологодской.

1973

## ПО ПРАВДЕ, ПО СОВЕСТИ

После окончания Теребаевской семилетки в 1946 году я поступил в Никольское педучилище. В нем в свое время, с 1928 по 1931 год, учился Александр Попов, в будущем известный поэт и прозаик Александр Яшин. Но с нами, учащимися училища, никто о нем не говорил.

Первые два года я жил на частной квартире в деревне Мелентьево. Место в общежитии мне дали лишь в 1948 году.

Жизнь сразу стала интереснее. В комнате нас было человек пятнадцать, в основном первокурсники. И многие увлекались чтением. Особенно выделялись своей начитанностью Юра Андреев, Геша Кудринский, Саша Головин и Володя Большаков. Остальные стали равняться на них, и два года в нашей многолюдной комнате номер пять велось соревнование книгоцеев. Мы горячо обсуждали прочитанное, спорили на литературные темы.

Как-то Юра Андреев, вернувшись из библиотеки, обрадованно сообщил нам:

— Мой земляк — лауреат Сталинской премии!

У него было право на особую гордость: его родная деревня Шири и родная деревня Яшина Блудново — одного сельсовета, Пермского. Я и до этого слышал от Юры, что есть в Москве поэт из нашего района, но стихов его еще не читал. А тут сразу взялся за «Алену Фомину».

...Во время войны в нашей деревне председателем колхоза «Восход» был Зубов Дмитрий Иванович. Но, читая поэму Яшина и вживаясь в образ Алены-председателя, я видел перед собой не Зубова (хотя и он был заботливым хозяином), а Евдокию Феодосьевну Павлову, бригадира третьей бригады нашего колхоза.

Ее муж Федор Владимирович, отвоевавший финскую, уже на второй день, как началась Великая Отечественная война, снова ушел на фронт.

И в том же году Евдокия Феодосьевна получила извещение о нем со словами «пропал без вести»...<sup>\*</sup> А на руках у нее — трое (четырех, двух лет, а третьему не было и года). Но эта простая русская женщина все выдержала и всю войну была в первых рядах тружеников села, обеспечивающих победу в тылу. «Она с характером Алены», — думал я. Правда, никак не мог представить Евдокию Феодосьевну сидящей при свете лучины с кратким курсом истории партии: грамотешки у нее маловато... Но зато я знал и видел ее работу. С утра до ночи, без выходных и без праздников трудилась она сама и вела за собой других. «Все — для фронта! Все — для победы!» — это были не только слова на плакатах в колхозной конторе. Это было тогда стержнем жизни всех советских людей.

Если бы я сказал, что после прочтения поэмы «Алена Фомина» полюбил Яшина безоглядно, то сказал бы неправду. Потребовалось много лет жизни и психологических встрясок, чтобы понять всю сложность литературной судьбы писателя и подлинную гражданственность его творчества.

Один пример «встряски»... В 1961 году, 8 февраля, парторганизация нашего производственного участка, обсуждая решения январского Пленума ЦК КПСС, приняла решение из двух пунктов: первый — признать ошибкой создание огромного, а поэтому неуправляемого колхоза; второй — в ближайшие дни провести собрание во всех семи деревнях бывшего колхоза имени Сталина и узнать мнение колхозников относительно вывода партийного собрания.

13 февраля, в воскресенье (райком партии узнал о «крамольном» решении первичной организации в субботу), я «стоял на ковре» и отвечал на вопросы, суть которых сводилась к одному: почему пошел на поводу консервативных настроений и позволил принять антипартийное решение? За четыре часа этого унижительного «стояния» я выслушал бесчисленное множество неаргументированных обвинений во всевозможных «анти». А в заключение последовало решение: исключить из партии, снять с должности директора.

Первичная организация не согласилась с решением бюро. А колхоз вскоре разделили-таки...

---

<sup>\*</sup> Федор Владимирович попал в плен, но после войны вернулся домой.

Писать воспоминания о Яшине — ответственное дело. И вовсе не «писательский зуд» заставил меня взяться за них. Три встречи, три письма Яшина и одна моя неопубликованная статья в защиту писателя — вот то небольшое, чем я располагал, берясь за перо. Но роль Яшина в формировании моих гражданских убеждений велика, и я знал о его благотворном влиянии и на многих других людей.

...Кажется, в январе 1960 года, а может быть и раньше, литературная группа районной газеты «Авангард» организовала встречу учителей района с Александром Яковлевичем. В переполненном зале районного Дома культуры Яшин рассказывал о своей работе, о противоречивых оценках отдельных его произведений собратьями по перу, читателями и профессиональными критиками. И привел такой поразительный пример двуличия и беспринципности в поведении одного писателя.

— Саша! Молодец! — тряс он руку автору «Рычагов».

А через несколько дней при официальном обсуждении этого рассказа вышел на трибуну и понес:

— Яшин сгустил краски, много взял черной. Яшин не помогает нам строить светлое будущее. Его «Рычаги» — злобная клевета на партию...

Во время перерыва Яшин подошел к этому двуличному Янусу и спросил:

— Тихон, когда ты был искренним: наедине со мной или сейчас, на трибуне?

— В первом случае.

— Так ты — кто?

— Саша, не обижайся: так надо было для пользы дела.

После того памятного вечера я стал внимательнее читать Яшина. И вот как-то раз попалось его стихотворение, написанное, видимо, после такого «товарищеского» обсуждения...

Неожиданно в ухо  
Паренькаopleухой  
Лучший друг оглушил...  
Дал с размаху другую:  
— Я ж тебя критикую,  
Я ж не так, от души,  
Я без злобы, по дружбе,  
По закону, по службе —  
Обижаться нельзя.



Нам без критики гибель.  
Ты сказал бы спасибо  
За науку друзьям.

В январе 1963 года появилась серия статей в областных и центральных газетах: «Нет, не прав Яшин!», «Свадьба с дегтем», «Знайте же меру, товарищ писатель» и другие в том же духе.

Прочитав «Вологодскую свадьбу» и статьи эти, я окончательно прозрел: писателя быют, обвиняют в несуществующих грехах, шельмуют за его прямоту, за его смелость говорить правду, за гражданскую полноценность. Поливают грязью за то, что он имеет мужество поступать «не как все».

И мне снова вспомнились мои мытарства из-за того, что не стал «затыкать рот» коммунистам на собрании 8 февраля 1961 года. Кроме «стояния на ковре» в райкоме, мне пришлось еще отбиваться от наскоков выше, когда всю «гнилую» организацию 2 марта вызвали на заседание парткома колхоза в Вахнево. Приехали второй и третий секретари райкома и председатель райисполкома. Заключительная «баталия» началась в 18 часов, а закончилась в первом часу 3 марта... После ее окончания секретарь райкома Мухин Иван Сергеевич, товарищ по заочной учебе в пединституте, прокатил меня в райкомовской легковушке от Вахнева до Калинина и сказал: «Ну, всего доброго, человек-загадка! Не обижайся: заходи в райком и без вызова».

Пережив все это и кое-что подобное по служебной линии, я и решил собирать документальный материал в защиту автора «Вологодской свадьбы».

В начале февраля 1963 года проводился семинар директоров школ района. Местом проведения его была Байдаровская средняя школа. Кроме показательных (а лучше сказать, показушных) уроков, была проведена читательская конференция по «Вологодской свадьбе» в восьмом классе.

Со вступительным словом выступил классный руководитель Семен Никанорович Насоновский. Начал с В. И. Ленина, а закончил в духе пасквилянтской статьи «Свадьба с дегтем». Затем выступали секретарь комитета комсомола школы и староста этого класса Елизар Куваев. Надо отдать должное парнишке: он пытался высказать свое мнение, но классный руководитель сразу же «поправил» ученика, и тот «закруглился», предложив товарищам высказать свои суждения. Почти из

тридцати мальчишек и девчонок только три или четыре заученно одобрили письмо земляков... Большинство промолчало.

После этого мероприятия я спросил учеников:

— Кто из вас читал «Вологодскую свадьбу»?

Рук было поднято меньше десятка...

— А кто читал «Свадьбу с дегтем»?

Все подняли руки.

Посоветовав ребятам читать сначала литературное произведение, а уж потом критические выступления о нем, я добавил:

— Внимательно прочитайте «Вологодскую свадьбу» не для конференции, а для себя, чтобы составить собственное мнение и потом поспорить с друзьями...

А Александр Платонович Пшеничников, друг Яшина со студенческих лет, спросил Насоновского:

— Для чего ты это сделал?

— Директор распорядился,— признался тот.

А в августе 1963 года я был в гостях у своего друга в Теребаеве, в родной деревне жениха из «Вологодской свадьбы». Естественно, велись разговоры о Яшине, о типах и прототипах его очерков. Все были за Яшина, признавали, что в его очерке правда, очень нужная правда.

На следующий день я встретился с незадачливым критиком Яшина, студентом Вологодского пединститута Берсеневым, который выступил против «Вологодской свадьбы» с письмом «Нет, не прав Яшин» в областной газете.

После моих прямых вопросов Берсенева заговорил покаянным тоном:

— Волосы на себе рву из-за того, что согласился подписать готовую статью против Яшина.

Но мое предложение написать Яшину письмо и попросить у него прощения за содержание он не принял.

— Поздно. Написано пером — не вырубишь топором.

В марте 1965 года я написал Александру Яковлевичу письмо и спросил его, как лучше использовать собранный мною в защиту «Вологодской свадьбы» материал. Он ответил:

*«Уважаемый Алексей Александрович!*

*Ваше письмо и газетные заметки я показал кое-кому из товарищей во время Всероссийского писательского съезда. Это оказалось очень кстати.*

*В свое время ни «Новому миру», ни мне самому не удалось ответить на поносные материалы против «Во-*

логодской свадьбы», хотя название одного из них («Открытое письмо писателю»), казалось бы, предполагало необходимость ответа.

Только А. Тр. Твардовский нашел возможность немного постоять за «Вологодскую свадьбу» — в газете «Правда» в интервью, которое он дал американскому корреспонденту Шапиро.

Сейчас все дело стало давним. Тем не менее один ответственный товарищ из «Нового мира» все же рекомендовал мне посоветовать Вам (Вы сами об этом просите) прислать в «Новый мир» на имя главного редактора все собранные Вами материалы и комментарии к ним (вероятно, в виде статьи), хотя гарантировать, что это может быть использовано в ближайшее время, конечно, не может.

Статью я написал в санатории «Солони́ха» и самолетом Котлас—Москва махнул к Яшину. Было это 29 декабря 1965 года. Я тогда еще ничего не знал о недавней трагедии со старшим сыном Александра Яковлевича. И хотя я прибыл явно не вовремя, меня поняли и приняли с вниманием.

Яшин развернул переданный мной сверток с материалами и стал читать их. Но потом спросил меня:

— Алексей Александрович, вы не можете все это пока оставить у меня? У Миши начались каникулы, мы с ним собрались ехать на дачу.

Я, разумеется, согласился.

Александр Яковлевич достал из шкафа две книги. Подписал одну. Начал подписывать другую и остановился. Положив ручку, прочитал: «Алексею Александровичу Павлову, товарищу по совместной обработке вологодской целины с пожеланием добра и счастья». Помолчал мгновение и спросил задумчиво:

— Как вы, Алексей Александрович, думаете: надо ли слово «целина» ставить в кавычки?

— Пожалуй, не надо: наш край ждет обработки по многим направлениям.

Теперь вот я думаю: если бы к голосам Валентина Овечкина, Александра Яшина, Федора Абрамова, Ефима Дороша, Георгия Радова и других «деревенщиков» в свое время прислушались, то не надо было бы потом хвататься за голову и вопрошать, как закреплять молодежь на селе или как восстановить былую власть земли над душой земледельца.

31 января 1966 года Александр Яковлевич написал мне большое письмо:

*«Статью Вашу я прочитал. Она интересна и содержательна. Трогательно Ваше бескорыстие и увлеченность. Но и, познакомившись с Вашей статьей, думаю, что не стоит сейчас возвращаться к давно перекипевшим страстям относительно «Вологодской свадьбы». Конечно, материал, собранный Вами и касающийся культурной жизни деревни, сам по себе не может устареть. Это боль для нас с Вами вечная, ее хватит до гробовой доски».*

Далее Яшин рассказывал о попытках «Нового мира» дать подборки писем в защиту «Вологодской свадьбы».

*«Я жалею, что из-за спешки не показал Вам типографский оттиск одной из таких подборок.*

*Набранные и сверстаные отклики читателей со всех концов страны, вероятно, произвели бы на Вас немалое впечатление, и Вы больше поняли бы, что ныне журнал, конечно, уже не будет к этому возвращаться — в таком в обычном плане, если не случится что-нибудь чрезвычайное и необычное, что заставило бы заговорить о «Свадьбе» снова. Но дело в том, что в текущем году будет переиздан роман Дудинцева «Не хлебом единым». У меня так же готовится однотомник прозы. Возможно вполне, в мой однотомник будет включена не только «Вологодская свадьба», но даже «Рычаги». Все течет. И правда в конце концов так или иначе берет верх над хитросплетениями неправды.*

*Мне думается, что лучше будет, если Вы согласитесь оставить Вашу работу в моем архиве, в папках читательских писем, касающихся «Свадьбы». Так она (Ваша статья) лучше сохранится и скорей дойдет до людей».*

Я ответил согласием.

22 мая того же (1966) года я встретился с Александром Яковлевичем в Вырыпаеве, в доме его сестры Марии Антипьевны.

Литература и ее место в нашей быстротекущей жизни, вечное борение добра со злом, коллектив и стадность — вот темы наших разговоров. Александр Яковлевич ничуть не подавлял меня своим опытом, знаниями. Я чувствовал себя свободно, говорил то, что думал, не опасаясь «попасть не в тон».

Мне эта беседа со старшим товарищем (а не с ментором) дала очень много в смысле приведения в сис-

тему моих взглядов. К сожалению, это была наша последняя встреча...

И я буду сожалеть всю жизнь о несостоявшейся встрече, на которую Александр Яковлевич и его зять Иван Васильевич Кокшаров пригласили меня на 27 мая, сообщив, что будет сварено пиво к этому дню. Поблагодарив, я все же решил не ходить тогда: побо-ялся быть чужим среди шумного и незнакомого за-столья.

На другой день Александр Яковлевич прислал за-писку:

*«Уважаемый Алексей Александрович!*

*Ждал Вас очень. Было все не так, как Вы предполо-жили, проще. Было всего два человека и мы с Иваном Васильевичем. Сегодня пойду в Мякишево, посмотрю на «родительскую субботу». Завтра наверняка буду в Теребаеве. Где — не знаю, но думаю, что встретимся. Жаль, пропало свежее дивное пиво. Вероятно, в поне-дельник я поеду в Никольск, затем — к себе.*

*Александр Яшин. 28.5.66. Вырыпаево».*

В августе 1966 года я освободился от директорских обязанностей и, кроме уроков истории, стал вести рус-ский язык и литературу в пятом классе. На вводном уроке по литературе я читал стихи Яшина, говорил о его любви к родному очагу, к деревне, к краю нашему. А на втором уроке выборочно (с необходимым коммен-тированием для пятиклассников) прочитал «Вологод-скую свадьбу».

В 1963—1965 годах я читал ее восьмиклассникам за-счет уроков истории и в журналах не делал об этом никаких записей, памятуя, что после соответствующей записи в журнале пятого класса получил нагоняй от инспекторов роно Н. В. Елфимовой и Р. И. Берсе-невой.

— Отсебятина! Разбазаривание учебных часов! Пре-ступная самодеятельность!.. — возмущались они.

После «реабилитации» Яшина районные руководи-тели бросились в другую крайность: в школах и учреж-дениях культуры появились стенды с материалами о Яшине и о других писателях-вологжанях. Но все это зачастую было лишь данью моде на Яшина, а если точнее сказать, то просто показухой. А с ней-то как раз и боролся Яшин.

Теперь проведение яшинских дней стало доброй тра-дицией. Как правило, эти дни организуются около

11 июля, дня кончины поэта. На праздник приезжают друзья Александра Яковлевича, поклонники его таланта. Поэты читают стихи Яшина, рассказывают о нем, выступают со своими стихами. Хорошее это дело: такие праздники способствуют воспитанию народа, ради которого и существует настоящая литература. Но и в этом, казалось бы, святом деле — приобщении народа к искусству — не обошлось без известной «ложки дегтя». Я имею в виду заключающие обширную программу банкеты. Для опошления главной идеи праздника более эффективное «мероприятие» едва ли можно придумать.

В 1976 году Владимир Крупин задал вопрос на таком банкете:

— Интересно знать, за чей счет эти богатые столы?

Ответа он не получил. Зато один из организаторов застолья, секретарь райкома партии М. М. Колтаков, поинтересовался у знакомого москвича:

— Кто этот подонок?

И осекся, услышав ответ:

— Поосторожнее в оценках: это талантливый и совестьливый русский писатель.

Года не прошло, и Колтаков был выбит с руководящей орбиты, когда его «организационные способности» вышли за всякие рамки.

В июле 1968 года я был на курсах повышения квалификации при Вологодском пединституте, когда во второй половине дня 12 июля в мои руки попал номер «Красного Севера» с некрологом Яшину.

Я — к руководителю нашему Петру Ивановичу Величко. Прошу два-три дня на поездку в Москву.

— Он кто вам? Родня?

— Да! Но не по крови, а по душе.

— Пожалуйста. Поезжайте, раз так.

Собрался я и — на вокзал. На Москву билетов нет, а последний поезд скоро отправится. Я к начальнику станции. Показал ему областную газету с некрологом... И, получив билет, минуты через две уже бежал к поезду.

Прибыл в Москву 13 июля. Успел на гражданскую панихиду по Яшину в Центральном Доме литераторов.

В своем прощальном слове Владимир Солоухин сказал об Александре Яковлевиче:

— На первый взгляд немного колючий и резкий, он имел беззащитную душу поэта и был удивительно легко раним. Можно представить, в каких рубцах и ссадинах пребывала его душа... Он шел по жизни с рас-

пахнутым сердцем и, что называется с поднятым забралом. Большой поэт, замечательный прозаик, правдолюб, ненавистник кривых путей, он был нашей совестью и нашей любовью.

Я не выдержал: потекли слезы...

И теперь, когда «Вологодская свадьба» нашла признание, когда дождалась своего часа неопубликованные повести Яшина, когда решение проблем Нечерноземной России поставлено на государственную основу, нам всем, кто разделяет яшинскую непримиримость к приспособленцам, очковтирателям, аллилуйщикам и демагогам всех рангов, надо продолжать беспощадную борьбу с ними, помня слова поэта:

«Пусть мир, что мы творим, далек от завершения, но мы глазами Ленина в грядущее глядим. Мы клятвенно твердим обеты поколения, что жить хотим по Ленину, иначе не хотим! Не верим ни чужим ни нашенским лжегениям и ссылкам на Ленина прикрыться не дадим. Благословен удел с таким работать рвением, как он всю жизнь умел, к себе без послабления, как он всю жизнь прожить, ни дня без вдохновения Отечеству служить и до самозабвения людей, народ любить! Во всем возможном быть похожими на Ленина!»

Через Яшина, вернее, через его произведения вырабатался и установился у меня круг читательских интересов. Федор Абрамов, Василий Федоров, Сергей Залыгин, Георгий Радов, Валентин Овечкин, Ефим Дорош, Гавриил Троепольский — это далеко не полный список имен писателей, произведения которых особенно волнуют меня и формируют мое убеждение в необходимости борьбы с косностью, рутинной, с всякого рода пороками в хозяйственной и общественной жизни. Они, эти писатели, являют собой пример активной жизненной позиции.

А. Я. Яшин в рассказе «Угощаю рябиной» писал: «Жизнь моя и поныне целиком зависит оттого, как складывается жизнь моей деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется». Человек деятельной любви к своему народу, он всегда останется живым примером для тех, кто стремится к очищению себя от мелочного эгоизма, от потребительского отношения к жизни, к обществу.



## «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»

Я должен, я обязан написать о нем, потому что многие ли еще так знали этого человека, как я?

Но, боже, как тяжело, как трудно писать об Александре Яшине! Неужели оттого, что и сама-то дружба наша была тоже тяжелая и трудная, то вскипавшая шумно и радостно, как весенний ливень, то опять месяцами тлевшая и чадившая дымной головешкой, уцелевшей от большого костра?

Да, мы начали с пламенной дружбы, прямо-таки взаимного обожания, а кончили отчуждением, чуть ли не враждой, через которые, к великой горечи моей, мы не смогли полностью перешагнуть даже в самые последние дни поэта.

### 1

Нас с Александром Яшиным свели литературные невзгоды. В декабре 1962 года Яшин опубликовал в «Новом мире» свою знаменитую «Вологодскую свадьбу», а месяцем позже, в январском номере «Невы» за 1963 год, появилась моя повесть, или, как тогда больше называли ее, очерк «Вокруг да около».

Произведения эти, разные по письму, но содержанию, были продиктованы одним чувством — привлечь внимание к трудным и острым проблемам деревни. Ни малейшего лака. Ни малейшей подсветки. Честный и откровенный разговор о реальной жизни, о наболевших вопросах в развитии сельского хозяйства.

К сожалению, вот эта-то обнаженность далеко не всем пришлась по душе. В печати появились разносные статьи и рецензии, нас стали прорабатывать на разного рода собраниях и совещаниях и, мало того, на нас напустили еще земляков, от имени которых в газетах были напечатаны так называемые открытые письма, жанр, который в те годы был в немалой моде. Короче,



нам с Яшиным было нелегко, и вполне понятно, что мы потянулись друг к другу.

Дело было, кажется, так. Желая хоть как-то поддержать товарища по несчастью, мне в мартовском номере «Звезды» за 1963 год удалось напечатать рецензию на его повесть «Сирота», которая в 1962 году была опубликована в журнале «Москва».

Яшин рецензию заметил и тотчас же откликнулся на нее письмом. Между нами завязалась переписка, а затем — это уже было в августе — Яшин пригласил меня на Вологодчину, в свои родные края, где он в то время жил с женой и младшим сыном.

Я не долго раздумывал. Уж очень хотелось посмотреть на смельчака, накатавшего «Вологодскую свадьбу», а еще незадолго до этого нашумевшего рассказом «Рычаги», — произведением, быть может, не безупречным в художественном отношении, но поразительным по силе разоблачения бездушного бюрократизма (Яшина-поэта в то время я почти не знал).

Должен сказать, что на мою родину попадать нелегко — таежная деревня в четырехстах километрах от ближайшего города, а к Яшину попадать и того труднее. Сперва поездом по Кировской дороге до станции Шарья, потом укачливой поползухой «Аннушкой» до райцентра, бывшего уездного города Никольска, а от Никольска километров двадцать на машине — полями, деревнями, разомлевшими на августовской жаре невеселыми ельниками. Кстати, последний отрезок пути очень поэтично описан Василием Беловым в очерке «Бобришный угор» и совершенно неподражаемо, предельно просто и лаконично — самим Яшиным:

Я из тех самых мест,  
Где семь верст до небес  
И все лесом да лесом...

Блудново, родная яшинская деревня, поначалу меня разочаровала. У нас, на Пинеге, деревни стоят на всхолмьях, на крутых угорах, красных и белых щельях по-нашему, да непременно поблизости от реки, да чтобы просторы и огляды вокруг на целые версты были, а тут, смотрю, небольшая деревенька в низине, в темных дремучих ельниках — ни дать ни взять, заблудилась.

Единственное, что, помню, несколько примирило меня с нею, — это белые разливы высокой, хорошо уродившейся ржи на полях возле Блуднова да зеленая травка-муравка во всю улицу, которая придавала деревне

какой-то удивительно сказочный, патриархальный вид.

Дом Яшина, просторный, еще добротный пятистенок с вышкой, с боковой избой-зимницей, очень похожий на наши пинежские постройки, оказался едва ли не самым лучшим домом в деревне,— чувствовалось, что покойный хозяин его, отчим Яшина, был в свое время далеко не последним человеком среди своих земляков.

Самого Яшина дома не было, он жил в своем новом домике на знаменитом ныне Бобришном угоре, на даче, как выразилась его старая мать, и добрейшая, бесхитростная сестра Яшина — Александра, или Саня, как все, и взрослые, и малые, зовут ее в семье Яшиных, хотя у этой Сани к тому времени был уже свой внук, проводила меня за деревню.

— Тут рядом,— сказала она, неопределенно махнув рукой в сторону леса,— все тропкой да тропкой, в самую избу и упрешься.

«Рядом», однако, оказалось мерой северной. Я добрых два километра шлепал болотом, гулом гудевшим от комарья, скакал с одного старого, прогнившего бревешка на другое, и надо ли говорить, что я на все лады клял своего будущего друга. Ведь это же специально придумывать, так не придумать — чтобы в такую болотину да сырь с новым жильем залезть.

А кроме того, во мне все кипело еще из-за встречи, которой он облагодетельствовал меня. Ведь я-то как себе представлял? Едва я вывалюсь из самолета, как меня тотчас же подхватят его надежные руки, и уж конечно у меня не будет никаких забот с транспортом. А вместо этого мне пришлось идти на поклон в райком (там, ради справедливости надо сказать, у Яшина была договоренность насчет машины), а сейчас даже тащиться пехом, да по болоту, по этим редким и ненадежным мостовинам, тогда как я после второго ранения на фронте и на твердой-то земле не очень уверенно стою на ногах.

Зато уж когда я выбрался из этого болота да глянул вперед, у меня дух захватывало от восторга. Хотя что я увидел особенного? Избу под белоствольными березами. Но какая это была изба! Изба-невеста, изба-солнце! Новехонькая, молодцеватая, сложенная из свежего соснового кругляша, она ослепительно, алмазно сверкала смолой и вся сияла радостью, счастьем. И не-

даром Яшин так самозабвенно любил ее, недаром из-под пера вылились эти удивительные строки:

Завихряется стружка,  
Пахнет ягодным бором.  
Вырастает избушка  
Над Бобришным угором.

В получасе шагання  
От деревни Блудново  
Жизнь моя, как сказанье,  
Начинается снова.

Яшины и на этот раз не вышли ко мне навстречу. «Мы ушли в лес. Кричите», — прочитал я в записке, припиленной к столу возле избы, к которому чуть ли не вплотную подступал ароматный, с красными листьями земляничник.

Я долго сидел у этого столика, наслаждаясь красотой избы и мягким, убаюкивающим шелестом берез. Потом встал, прошел за избу.

Молодой сосновый бор, жердняк на крестьянском языке, выстланный серебряным ковром беломошника, вышел на передки избы, и картина, которую я увидел внизу под угором, оказались еще краше. Широкие разливы зеленых лугов, за лугами лесистая гряда, упирающаяся в синее небо, и оттуда, из-под гряды, весь заросший седым ивняком, выкатывался Юг — река, которую я знал еще со школьных лет и которая тут, под Бобришным угором, выгнувшись подковой, выглядела, маленькой неказистой речонкой.

Меж тем время шло, изба от вечернего солнца стала алой, а хозяев все не было и не было. Я начал кричать.

И вот чудо: тотчас же снизу, с луга, совсем-совсем близко от избы, донеслись голоса — радостные, звонкие на вечерней заре.

Первым в угор влетел светлоголовый десятилетний сын Яшина — Миша, потом я увидел Злату Константиновну, хозяйку, сияющую, романтически-восторженную, голубоглазую, с охапкой пестрых цветов, потом, спустя немалое время, в угор поднялся и сам Яшин — бледный, тяжело, открытым ртом дыша, но победно улыбающийся, открыто, по-мальчишески радуясь и встрече, и лесной находке — матерой клюке-палице, на которую он опирался.

Лесная прогулка совершенно вымотала Яшина, и

он, все еще запаленно дыша, потянулся к скамейке возле столика.

Меня немало удивил облик Яшина, который показался мне не очень деревенским, да, пожалуй, не очень и русским. Большой, горделиво посаженный орлиный нос (у нас такого по всей Пинеге не сыщешь), тонкие, язвительные губы под рыжими, хорошо ухоженными усами и очень цепкий, пронзительный, немного диковатый глаз лесного человека, но с усталым, невеселым прижмуром...

Первое время разговор не клеился и мы больше работали глазами, так и эдак приглядываясь друг к другу, потом Злата Константиновна накрыла на стол (жареные утки, настрелянные самим Яшиным), появился коньячок, и лед тронулся. А каких-нибудь десять-пятнадцать минут спустя мы уже выкладывались друг перед другом сполна.

Разговор, конечно, в первую очередь забурлил вокруг наших литературных дел. Яшин тяжело переживал про-работочную бурю, разразившуюся над ним. Он просто задыхался от бешенства, от своего бессилия. Ведь еще недавно его послали на руках, чуть ли не со звоном встречали и местные власти и земляки, а сейчас все отвернулись, хамство на каждом шагу. Колхоз даже избу достроить отказался, хотя у него с колхозом было специальное трудовое соглашение.

— А за что, собственно, такая немилость? За то, что человек честную вещь написал?..

Но особенное негодование вызывали у него молодые писатели Вологды, которых он так или иначе всех вывел в люди и которые в трудную минуту предали своего учителя.

— Ну, может, хоть не предали,— попытался я вступить за вологжан.

— Предали! — зло оборвал меня Яшин.

Потом, чтобы посильнее уязвить меня, вдруг перешел на официальное обращение:

— Вам, дорогой Федор Александрович, можно предаваться благодущию, у вас не семеро по лавкам, да и жена, как мы слышали, доцентик, а мне надо свой «колхоз» обеспечивать своевременной выдачей на трудодни. Ежедневно! — жестко добавил он. — А поступления — какие?

Помолчав, он устало закрыл глаза и сквозь зубы еле слышно процедил:

— Надоело зарабатывать деньги...

— Но сейчас, Саша, когда мы на подножном корму, можно не думать об этом каждую минуту.

— Во-во! — с ухмылкой ответил жене Яшин. — Давай пригоним сюда на грибы да на ягоды весь наш колхоз — это ты хочешь сказать?

— А хорошо бы! — воскликнула, загораясь, Злата Константиновна.

— Сентименты, сентименты, матушка!

Мне стало жаль Злату Константиновну, которая, как мне показалось, просто погасла под суровым взглядом мужа, и я решил перевести разговор на местные красоты, на окрестные леса, которые сейчас чудно горели в красном пламени вечерней зари.

Яшин отрубил:

— Леса здешние между прочим в этом году пустые. В них сейчас ничего не растет.

— Ну как же, Саша, — подала опять голос Злата Константиновна. — А грибы? Мы же полкорзины насобирали.

— Во-первых, в этой полкорзине половина гнилых, и их надо немедленно выбросить, а во-вторых, матушка, мы с тобой не в московском салоне, а в деревне. А в деревне десяток обабков, собранных втроем за четыре часа, за грибы не считают.

Я начал расхваливать Бобришный угор — ну, думаю, тут-то уж Яшин похвалится.

Не подобрел. Хмуро, не поднимая глаз от стола, бросил:

— Неплохое место для будущей могилы.

— Ну что за шутки, Александр! — возмутилась Злата Константиновна и стала подзывать с реки сына, который убежал туда почти сразу же после возвращения из леса, как только утолил немного голод, — ведь он был еще ребенок и ему хотелось продемонстрировать гостю свои рыбацкие способности.

Кажется, сам дьявол вселился в Яшина, ибо через какую-то минуту, когда далеко за лесной грядой затихло эхо перекатывающихся голосов, он упрямо сказал:

— Здесь, возле стола, лягу.

Помолчал, исподлобья сверля нас своим бешеным ястребиным глазом, не терпящим возражения, и уточнил деловито, по-крестьянски очертив рукой полукружье:

— Вот тут, на этом месте, вырыть могилу.

Мы со Златой Константиновной со страхом перегля-

нулись. И тут Яшин, поняв, видимо, что хватил через край, натужно усмехнулся:

— Что, напугал?

В бутылке оставался еще недопитый коньяк. Яшин разлил его по стаканам, медленно выпил, смакуя, как человек, понимающий толк в этом деле, и закусил... таблеткой валидола. Между прочим второй раз за вечер.

Я пошутил:

— Да вы никак, Александр Яковлевич, перешли на пищу будущего? — я имел в виду всякие там фантастические романы, где герои обычно питаются таблетками.

Яшин колюче посмотрел на меня, но ничего не сказал.

Заря за рекой заметно размылась. В зеленоватом небе проклюнулись первые звездочки, туман подступил к самому подножью Бобришного угора, затопив весь луг.

Яшин зябко передернул своими широкими, костистыми плечами, откашлялся — у него была астма — и уже обычным, глуховатым голосом предложил:

— А не пора ли нам дорогие товарищи, на боковую?

В избу он пошел с клюкой-палицей, с той самой штурковинной, которую принес из леса, и благоговейно поставил ее к переднему простенку под портретом Льва Толстого, своего божества, косматого и даже страшного в эту минуту, пронзительно глядящего как бы из пламени (вся изба была залита красным светом) и очень похожего на лешего. Да его, кстати, как я позднее услышал, так и называли местные старухи («Изба-то бы на веселом месте, и в самой избе весело, да пошто он лешего-то вместо иконы повесил?»).

В избе с белыми сосновыми стенами, еще не успевшими пожелтеть, было тепло и хорошо пахло прогретым за день деревом, мохом в пазах и полевыми ромашками, стоявшими в консервной стеклянке из-под компота на подоконнике справа от портрета Толстого.

— Вот так и живем, — сказал Яшин совсем запросто. Но тут же съехидничал: — А у вас, поди, целый дворец, Федор Александрович?

— У меня и кола своего нету, а не то что чего другого.

— А знаете, дорогой Федор Александрович, — вдруг сказал Яшин, — мы ведь с вами, чего доброго, еще друзьями станем. Как вы на это смотрите?

Злата Константиновна пламенно, всей душой возмолвила:

— Дай-то господи! Я очень, очень хочу, чтобы вы поружились.

Спать легли на нары, устроенные на козлах возле стены слева от дверей, и накрылись одним большим старым стеганым одеялом, явно принесенным от матери, — я помню по своему детству такие большие семейные одеяла.

Набегавшийся за день Миша уснул мгновенно. К моему немалому удивлению, довольно быстро заснули и хозяева, хотя сон у Яшина был беспокойный и тяжелый. Он постоянно ворочался, стонал и надрывно кашлял.

Ну, а что касается меня, то я и не пытался настраивать себя на сон. На новом месте я вообще трудно засыпаю, а тут столько всяких впечатлений — надо было в них разобраться. А главное — решить, что делать завтра. с утра отчаливать от Яшиных или спустить свой отъезд на тормозах. Я вот так, по горло, был сыт Яшиным.

## 2

Я прожил на Бобришном угоре две недели. И это были незабываемые дни.

Нет, нет, Яшин не стал ангелом на другой день. Едкая насмешка, злость и желчность, резкие перепады в настроении, даже грубость, даже жестокость — все это осталось. И с ним было нелегко — того и гляди, ужалит. А с другой стороны, сколько в этом человеке было доброты, детской доверчивости, истинного бескорыстия и благородства, русской удалости и русского озорства!

Существует мнение, что русский национальный характер по своим качествам является характером полярным, характером противоположностей. Так вот Яшин — ярчайшее подтверждение. И надо ли говорить, что именно особенности яшинского характера во многом предопределили исповедальный характер его зрелого творчества, его совестливость и самосуд, не знающий никакой пощады к себе?

Но вернемся к Бобришному угору.

Яшин за ночь, видимо, неплохо отдохнул, и наутро его трудно было узнать. Ничего от вчерашнего брюзжания и раздражительности. Деятельность, лихорадочная деятельность и яшинская жадность к жизни.

За один день мы порыбалили на реке, сходили в лес,



погоняли уток в озеринах и старых речницах, которых немало на тамошних лугах. Право распоряжаться хозяйским ружьем было великодушно предоставлено мне, и я не буду скрывать: оскандалился — вернулся домой без пера. Но Яшин на этот раз не ехидничал.

Да по правде сказать, и некогда было ехидничать. По плану мы должны были быть в гостях у его сводной сестры, а она жила неблизко — в другой деревне.

С этого вечера началась гостьба, растянувшаяся чуть ли не на неделю. Причем гостьба, какую мог придумать только Яшин. По героям его повести «Вологодская свадьба».

Большинство этих героев были близкими или дальними родственниками Яшина, и объезд их по деревенским понятиям был делом нормальным.

Но что меня всякий раз корбило? Яшин, нимало не стесняясь их присутствия, начинал вслух просвещать меня, кто из них какую роль играет в повести, давая при этом далеко не всегда лестные характеристики.

Некоторых «прототипов», особенно поддавших мужиков, это забавляло, и они еще сами подкидывали подробности, упущенные автором при описании свадебного обряда.

Другие, как сестра Яшина Мария и ее однорукий, но работающий муж, вежливо отмалчивались, и только когда Яшин уж слишком яростно, что называется по-яшински начинал воспитывать своего шурина, который и одной рукой неплохо молотил свою покорную жену, тот, виновато улыбаясь, вставал и выходил из избы.

Но бывало и не так гладко. Раз приехали мы на льнозавод, где жили главные герои «Вологодской свадьбы» — племянница Яшина Галя, та самая Галя, которая пригласила его на свадьбу, и обожаемый ею жених, теперь уже муж, долговязый Петр Петрович.

Яшин на крыльце дома меня предупреждает:

— Наберитесь терпенья, дорогой Федор Александрович. Тут подольше придется задержаться: главные герои!

А у этих главных героев мы и полчаса не пробыли.

Сухо, неприязненно встретили. Как чужих. Даже чашки чая не предложили, что по деревенским обычаям равнозначно чуть ли не оскорблению.

Яшин был убит совершенно. И когда мы вышли на улицу, он только руками развел:

— Ничего, ничего не понимаю. За что они меня так?



Что я сделал им плохого? Да я в трубу вылетел из-за ихней свадьбы!

— Бывает,— сказал я, и в душе подивился яшинской наивности.

А как? «Прославил» своих земляков на весь свет, и еще хочет, чтобы его благодарили. Да для иного деревенского жителя всякая популярность, выделяющая его из общей массы, просто невыносима. Я помню, как однажды моего племянника, тогда еще подростка, отличившегося на сенокосе, приехали фотографировать для районной газеты. Так что он сделал? Убежал из дому...

— Чертов народ!— вскипел вдруг Яшин.— Ты для него — все, жизнь готов отдать, а он первый же тебя копытом! Неужели это и у других народов так?

И тут начался у нас нервный и болезненный для обоих разговор о земляках, о взаимоотношениях писателя с земляками, которые, увы, далеко не всегда поддерживают его в борьбе за правое дело.

Кончился этот день взрывом, разоблачительными речами Яшина, которые были так хорошо знакомы близко знавшим его. Причем что удивительно? Жертвой их стал один работник райкома, давний его товарищ, который искренне любил его и помогал ему, чем мог. Но таков уж был Яшин: на близком-то человеке он нередко и отыгрывался.

— Заелись, забурели, сволочи... До чего народ довели... Не вороти, не вороти рыло-то, вправду говорю...— И т. д. И т. п. Горный обвал, кипящий водопад!

Мне, не знавшему тогда этой слабости за Яшиным, было дико все это слышать, но хозяин и не думал сердиться на гостя. И это еще больше выводило из себя Яшина.

В разъездах по гостям, по знакомым и близким мы провели, как я уже говорил, чуть ли не неделю. А потом как-то встретили на одной из улиц Никольска Вадима Каплина, молодого сотрудника районной газеты, влюбленного в Яшина, и нас захватила страсть— медвежья охота.

Дело в том, что этот самый Вадим Каплин, такой же пылкий романтик и патриот своего края, как Яшин, в прошлом году убил на овсах медведя (его в городе так и звали теперь Вадим-медвежатник), и, когда мы закатились к нему домой, он прежде всего продемонстрировал нам медвежью шкуру, живописно раскинутую на полу гостиной.

И это решило все. Яшин с той минуты, как увидел эту медвежью шкуру, уже и думать ни о чем не мог. Да и я загорелся: у нас, на Пинеге, слыхом не слыхали о медвежьей охоте на овсах. И как же упустить подвернувшийся случай?

Сборы были, как всё у Яшина, скоропалительными. Не прошло и двух часов после нашей встречи с Каплиным, как мы уже тряслись в его драндулете.

Драндулет этот только с величайшей натяжкой можно было назвать машиной. Он был собран из немыслимого разнокалиберного старья, так что даже знаменитая «Антилопа Гну» по сравнению с ним казалась верхом технического совершенства, и я не сомневался, что он рассыплется еще на улицах Никольска. Но Каплин, великий оптимист, был уверен в своем козлике (так он любовно называл своего рысака). И вот мы благополучно, правда, под насмешливые и удивленные взгляды уличных зевак, миновали город, въехали в лес, а драндулет, то и дело чихая и извергая целые тучи вонючего смрада, все тянул и тянул. И так без особых приключений мы добрались до одной деревни (кажется, она называлась Широкое), а оттуда вместе с местным учителем-стариком уже пешком отправились на лесной починок.

Я не буду вдаваться в подробности, связанные с нашей длинной и нелегкой дорогой, большей частью пролежавшей через комариное сыролесье, дорогой, напроочь размолотой тракторами и машинами. Не буду также говорить и о своем крайнем удивлении, когда мы вошли в поля. На добрых полкилометра овсы в одну сторону, в другую, а за овсами, на пригорке у леса, освещенные вечерним солнцем крыши домов (штук пять я насчитал) — да какие тут могут быть медведи! Или на Вологодчине и медведи особые?

Каплин не стал сорить словами, а взял меня за руку, завел в овес и молча ткнул рукой в землю. Огромная куча медвежьего помета, и довольно свежего, сплошь покрытая толстым слоем шевелящейся мошкары.

Дальше признаков пребывания медведей на полях оказалось еще больше — овсы были сплошь выброжены, а кое-где и скатаны как войлок, и мы притихли.

Медведя, выражаясь словами одного стихотворения Яшина, мы не убили, хотя все было: было сиденье на вечерней заре на лабазах, ерундовых дощечках, кое-как прикрученных проволокой к стволам осин и берез кем-то

из наших предшественников, было кормление комаров (зажрали, сволочи!), было терпение. Одного не было — веры, веры в то, что выйдет медведь. Потому что ведь где охотимся? В деревне!

Каплина и старого учителя это не удивляло, они здесь бывали раньше, а мы с Яшиным были потрясены. В сущности, мы впервые вот так вплотную столкнулись с тем, что позднее, через десять лет, будет названо второй целиной, русским Нечерноземьем.

Уже ночью в полной темноте и тумане, по пояс мокрые (нам-таки немало пришлось побродить в отсыревших овсах), мы вышли наконец к нежилым, заброшенным домам, разожгли костер, и, помню, Яшин долго и онемело стоял, вглядываясь в высветленные огнем бревенчатые стены с черными провалами выбитых окон, и слезы текли по его рыжим небритым щекам.

### 3

Наша дружба продолжалась без мала четыре года. Были письма, были встречи, были разговоры и споры о жизни, о литературе и, конечно же, о нашей матери — деревне.

Яшину легко давалась переписка. В своих письмах он запросто, без всякой натуги и со свойственной ему откровенностью посвящал меня в свои повседневные дела и быт, очень неустроенный, материально не обеспеченный, делился замыслами литературных произведений, главным образом прозаических, — а их у него, этих замыслов, была Уйма, и часто присылал свои новые, еще не напечатанные стихотворения, требуя честного и нелицеприятного отзыва.

К стыду моему, я не всегда оказывался на высоте. Некоторые стихи мне определенно не нравились своей излишней прямолинейностью и притчевой назидательностью, но сказать об этом прямо у меня не хватало духу, и появлялась уклончивость и витиеватость, которая раздражала нас обоих.

Яшин же, когда дело касалось искусства слова, не делал ни малейшей скидки ни на приятельские отношения, ни на авторитеты. Тут он был беспощаден и неподкупен. Помню, послал я ему четыре рассказа, над которыми работал чуть ли не целый год. Принял он безоговорочно только один — «Медвежью охоту», или «Дела российские», как теперь он называется. Что же касается

трех других, кстати сказать, тогда же напечатанных в одном журнале, то он их просто отверг как вещи малохудожественные.

Вообще нужно сказать, что письма к Яшину мне давались не без мозолей, и тут, возможно, известную роль сыграла неопределенность наших отношений — мы долго обращались друг к другу то на вы, то на ты.

Встречались мы нечасто, главным образом в Москве, куда я изредка наезжал. Яшина в то время не без скрипа, но в некоторых журналах все же печатали, по крайней мере его стихи. И он, как товарищ и друг, все делал, чтобы поскорее была снята епитимья за «Вокруг да около» и с меня. Он знакомил меня с московскими литераторами, при этом всякий раз расхваливал меня как писателя, водил в редакции некоторых журналов и издательств, и наконец благодаря его стараниям в июне 1964 года меня пригласили в Краснодар на выездной пленум Союза писателей РСФСР по вопросам литературы и сельского хозяйства.

Краснодарская общественность встретила меня неприязненно — разносной статьей в областной газете: «На Краснодарской земле нет и не может быть места для «Вокруг да около», и, помню, Яшин просто клокотал по поводу этой западни (он так и выразился в разговоре с одним руководящим товарищем), а потом вдруг махнул рукой:

— Да бросьте вы переживать из-за этой хреновины! Надо гоголем ходить, а мы напишем правду и чуть ли не у каждого мерзавца просим прощения... Пойдемте, лучше я вас познакомлю с Василием Беловым.

Я озадаченно заводил глазами.

Яшин вознегодовал:

— Как? Вы Василия Белова не знаете? Да он один стоит всего нынешнего совещания! Ей-богу! — И тут он с жаром, прямо-таки вздохнул стал рассказывать про своего молодого земляка из Вологды, звезда которого еще только-только начинала всходить.

Вскоре мы уже втроем сидели в ресторане гостиницы, и тут вдруг выяснилось, что я Василия Белова знаю. Во-первых, запомнилось его письмо по поводу моего первого романа «Братья и сестры», который они читали всей семьей и в котором увидели самих себя, свою безотцовщину, а во-вторых, — бывает же такое! — в первом номере «Невы» за 1963 год, в том самом номере, где напечатана моя злополучная повесть «Вокруг да око-

ло», напечатан был и рассказ Василия Белова «Люба-Любушка». Кстати сказать, по поводу этого рассказа Белов прислал мне письмо и просил высказать свое мнение.

Я прочитал рассказ. И, увы, он не показался мне из ряда вон выходящим. Мягко, лирично написан. Хороши пейзажи. А в целом довольно традиционен и даже пересажарен, что у меня в те годы вызывало самый решительный протест. Короче, в то время я скорее голову бы дал на отсечение, чем поверил бы, что автор «Любушки» через каких-то пять лет напишет «Привычное дело», повесть, которая сразу же станет славой и гордостью нашей литературы. А вот Яшин сумел разглядеть в Белове талантливого прозаика, когда тот еще писал стихи.

Совещание «деревенщиков» в Краснодаре прошло не без пользы. По крайней мере, благодаря ему многие из нас, и в том числе я, сумели побывать в кубанских колхозах, которые по своей экономике, по оплате труда колхозников так разительно отличались от колхозов средней и северной России, что некоторые ораторы в своих выступлениях уже не называли иначе Кубань как земель, где воочию «взошло солнце коммунизма».

Как я уже говорил, характер у Яшина был совсем не идеальный. Да и у меня, прямо скажем, не сахарный. И искры от нас начали сыпаться чуть ли не с первого дня. Дело дошло даже до того, что в день моего отъезда из Никольска Яшин не поехал провожать меня на аэродром. Это своего-то гостя, первого, как не раз провозглашалось, друга! Правда, минут за десять до вылета самолета он все же, весь взмыленный и с покаянным видом, примчался на аэродром, и мир был немедленно восстановлен. Но бывали ошибки и более затяжного порядка. Ну, а настоящая гроза меж нами разразилась году в шестьдесят пятom, когда однажды Яшин приехал ко мне в Ленинград с ответным визитом, а заодно и по делу: не удастся ли тут, в Ленинграде, хоть как-то поправить свои финансовые дела — запродать какому-либо журналу новый рассказ или стихи.

По поводу такого события я, можно сказать, разработал целую программу, и коронным номером этой программы должен был стать роскошный обед у моего приятеля, жена которого была непревзойденным кулинаром.

И вот я, заранее одетый в парадный костюм, с праздничным настроением в душе, сижу дома и жду Яши-

на, с тем чтобы в два часа, как было условлено, отправиться вместе на обед. Наступает два часа — Яшина нет, наступает полтретьего, три — Яшина все нет. Я в отчаянии — случилось что-нибудь?

Приятель, вполне понятно, тоже нервничает: обед переставается. И вообще высказывает всякие догадки: дескать, транспортабельны ли вы? Может, мне самому поддохать за вами?

Наконец в полчетвертого звонок от Яшина:

— Не жди на обед. Не приду.

— Как не придешь? — с трудом выговариваю я.

— Понимаешь, встретил одну землячку, с которой давно хочу выяснить отношения... — И знакомый, хрипловатый смешок.

— В таком случае, — взрываюсь я, — я больше знать тебя не знаю! — И с размаху бросаю трубку.

Позже, конечно, я не раз казнил себя за свою безрассудную вспыльчивость (сколько раз она меня в жизни подводила!), да и у Яшина-то, как потом оказалось, была самая безобидная, действительно неотложная встреча, но с этой поры мы надолго закусили удила.

Нас пытались помирить знакомые, наши жены. Между прочим, моя жена и тогда считала и до сих пор считает, что ссора у нас вышла... из-за ножа, который я подарил Яшину. Дело в том, что на Яшина, человека, всегда чем-либо увлеченного, в то время напала очередная страсть, или, как говорила Злата Константиновна, «новая болезнь» — коллекционирование холодного оружия. Мне, например, он писал: «Собираю всякое холодное оружие от сапожных и даже перочинных ножей до сабель, шпаг, пик и т. д. Если у Вас есть что-то, подарите мне, ради Христа».

Я послал ему довольно любопытный, с секретом нож-складень, выкованный вятскими мастерами. И вот этот-то нож, если верить народной примете, которую мне напомнила жена, и развел нас с Яшиным. Как бы то ни было, но после того как я под каким-то предлогом сумел обратно забрать этот разнесчастный нож, в отношениях между нами и вправду стали появляться просветы.

Тому способствовали немало и жизненные обстоятельства. У Яшина трагически погиб старший сын-юноша, и мог ли я не принять это страшное горе в свое сердце? С другой стороны, в июле 1966 года случилось несчастье со мной в Архангельске (микроинфаркт), и

вот уже Яшин готов всем пожертвовать ради меня: «Только отзовитесь, поманите пальцем — и я приеду, чтобы посидеть около Вас».

Но... это были все же отдельные порывы, благородные порывы, идущие больше от благодарности к прошлому, но самого этого прошлого вернуть уже было нельзя.

4

— А ты знаешь, что Яшин безнадежен?

— ???

— Да, третью операцию недавно перенес.

Ныне, услышав что-либо в этом роде, я бы немедленно, в тот же день бросился в Москву. А тогда, в июле шестидесят восьмого, помнится, прошло дней пять, прежде чем я решился на поездку. Потому что очень уж страшно было мне, здоровому человеку, вдруг явиться к умирающему другу, пусть и другу в прошлом.

Палата, в которой лежал Яшин, была просторная, вся в солнце, в цветах, и потому особенно тяжело было увидеть его неподвижным, словно распятым на узкой больничной койке, стоявшей посреди палаты.

Избегая глядеть на больного, мы с Александром Михайловым — у меня так и не хватило духу заявиться одному — пролепетали какие-то слова приветствия и смущенно присели на краешек табуреток возле дверей.

Яшин молчал.

Злата Константиновна, уже сколько недель неотлучно жившая при нем в больнице, с преувеличенной живостью начала было рассказывать о подарке земляков — маленькой сосенке с Бобринского угора, присланной в глиняном горшке с родной землей, но Яшин с укором посмотрел на жену, и в палате опять наступило тягостное молчание.

Выручила, как всегда, литература-матушка: Михайлов решил познакомить Яшина с наиболее интересными публикациями в последних номерах журналов, однако Яшин и к этому остался безучастен.

— А роман-то Федора Александровича читали? — вдруг спросил Михайлов.

Я весь внутренний вздрогнул: что-то сейчас скажет Яшин о моих «Двух зимах и трех летах»? Ведь роман был напечатан в первых номерах «Нового мира» за этот год, когда он еще был относительно здоров, и едва ли он не проявил к нему никакого интереса.



Яшин не ответил. И только когда разговор зашел о Василии Белове, его духовном сыне, глаза его, очень строгие, отрешенные, чем-то напоминавшие глаза святых с фресок Феофана Грека, на какое-то мгновение, мне показалось, посветлели.

Приободренные этим проявлением жизни, мы с Михайловым вспомнили о бутылке шампанского, купленной по дороге, и быстро, но бесшумно раскупорили.

Отпив шампанского, Яшин попросил у жены специально сваренную для него картошку в мундире.

Бледными-бледными руками он сам очистил картошку, посыпал солью и, по-крестьянски поддерживая у подбородка сложенную ковшиком руку, начал медленно жевать. Скоро, однако, он отложил картошину:

— Деревянная какая-то... Уже и картофельного вкуса не ощущаю...

Яшина всегда, сколько я помню, отличала повышенная чистоплотность, и тут он не изменил своей привычке: тщательно вытер платком рот, затем начал было подправлять свои рыжие, за время болезни заметно поредевшие усы и, не закончив этого занятия, погрузился, надо полагать, в свой новый, открывшийся ему в дни болезни, мир...

Я не помню, как мы прощались с Яшиным. Помню только, что у меня было большое чувство вины перед ним, чувство вины живого человека перед умирающим, и что мне очень хотелось по русскому обычаю попросить у него прощения.

Александр Яшин умер пятидесяти пяти лет, в расцвете духовных сил, своего яркого дарования.

Одна за другой выходили книги его стихов, и каких стихов! Неповторимо самобытных, яшинских, то обжигающих своей раскаленной гражданственностью и исповедальностью, то необычайно душевных и сердечных, раскрывающих самые сокровенные тайны природы, лесного царства. А сколько осталось неосуществленных замыслов в прозе, где он за короткое время утвердил себя одним из крупнейших и многообещающих писателей.

Его кабинет напоминал мастерскую столяра, заваленную всевозможными заготовками. Будущие романы, будущие повести, будущие рассказы и очерки... Одни — лишь болванки, по которым прошелся только топор, дру-



гие знакомы уже были с рубанком и стамеской, а над третьими даже потрудился царь столярных инструментов — фуганок.

Природа наделила Яшина могучим организмом. Но жизненные перегрузки: война, ленинградская блокада, откуда его вывезли полуживого, мучительные и затянувшиеся поиски себя как художника, трагическая смерть сына-юноши, хроническое безденежье последних лет — не слишком ли много всего этого для одного человека? А яшинская неуравновешенность и неистовость, его постоянные метания — разве эти свойства его натуры не надорвали душу?

Но и то сказать: живи Яшин вне бурь и страстей своего времени, веда он размеренный и уравновешенный образ жизни, — словом, не гори каждодневно на огне, как он сам писал о себе, разве был бы он тем, что есть? Разве сегодня в нашей литературе пылал бы его костер?

Яшина похоронили на его любимом Бобришном угоре, которому суждено было стать поэтическим образом всего его творчества.

1982

## НА УЛИЦЕ ЯШИНА

Московский поезд остановился в Вологде. С волнением я вышел на перрон. Вышел просто прогуляться, но не удержался — решил остаться, хотя бы до следующего поезда. Близок моему сердцу этот северный город, много с ним связано в личной судьбе.

...Раннее солнечное утро. Только что отшумел дождь. Хорошо в такую пору пройти по безлюдным еще улицам.

Иду не спеша. Всматриваюсь в облик города, как в лицо старого друга, с которым давно не встречался. Советский проспект... Сворачиваю на оживающую магистраль. Близко речной вокзал. Белеет, пришвартовываясь, теплоход. Над высоким песчаным обрывом приземистое кирпичное здание — Петровский домик...

И вдруг на углу выходящей на проспект и к реке улицы читаю: «Улица Александра Яшина». Ее-то мне и хотелось увидеть.

Угловое здание — двухэтажный каменный административный корпус городской больницы. На стене мемориальная доска: «Яшин Александр Яковлевич. Поэт-вологжанин, лауреат Государственной премии СССР. 1913—1968 гг.».

Возле дома березы... Поскольку в Вологде их много, то в этом, разумеется, нет ничего удивительного. Однако как хорошо, что именно эти деревья стоят рядом с именем Яшина! Ведь березы так часто присутствуют в стихах поэта. Про свою любовь к березке он писал с такой же нежностью, искренностью, и даже стеснительностью, как о любви к девушке.

Мне хочется запомнить эту улицу, и я внимательно вглядываюсь в нее. Старых маленьких домишек здесь не осталось — поднялись многоэтажные корпуса, строятся новые.

В прошлом улица называлась Новинковской. Пытаюсь припомнить, случалось ли здесь бывать, когда мы

вместе с Яшиным в 1932 году сдавали в пединституте экстерном экзамены на звание учителя семилетки по русскому языку и литературе...

Невольно приходит на память:

В голоде,  
в холоде  
в городе  
Вологде  
жили мы весело,  
были мы молоды.

Это Яшин написал тридцать пять лет спустя. Действительно, в тридцатые годы нам, студентам, приходилось трудновато. Но выручала молодость.

Пединститут находился выше по реке. Ее берег был излюбленным местом наших прогулок. Саша, высокий, с веснушками и непокорными каштановыми волосами, всегда шагал торопливо, словно спешил все обойти. На сохранившейся у меня фотографии тех дней, сделанной в саду, прилегающем к кремлю, он в темном костюме и пестрой кепке блином, с портфелем в руках.

До педагогических курсов Яшин был сельским учителем в Чебсарском районе. И уже несколько лет печатался.

Готовясь к сдаче экзаменов, мы слушали лекции, посещали семинары и самостоятельно занимались за столиками, что стояли на берегу, в тени деревьев. В апреле 1932 года, то есть как раз во время наших курсов, было опубликовано известное постановление партии о перестройке литературно-художественных организаций. И литературные споры разгорелись и в нашей студенческой среде. В них непременно участвовал Яшин. Он обычно говорил горячо, нервно, подчас резковато, но всегда с глубокой убежденностью, что партийность, народность и правдивость неразрывны.

Снова мы встретились года через два в Архангельске, который в те времена был центром обширного Северного края, включающим и Вологду. Было это летом. Встретились мы случайно, в трамвае...

— Рассказывай, что да как...— оживился, увидев меня Яшин.

Я работал тогда директором ФЗС и направлялся в городской отдел народного образования. А Яшин сообщил мне, что готовит к печати свою первую книгу стихов.

В тот день мы долго бродили по набережной Двины.

А несколько месяцев спустя, зайдя в издательство, чтобы поздравить товарища с выходом книги, я узнал, что Яшин уже уехал учиться в Литературный институт имени Горького в Москву.

С тех пор мы не встречались долго. Но я все время следил за творческим путем Александра Яшина, радовался его успехам.

В 1961 году я был в Минске, работал в газете. Но как-то, заболев, неделю не выходил из квартиры. Сижу вечером у телевизора, и вдруг по минскому телевидению выступает Александр Яшин и читает стихи «Спешите делать добрые дела!..»

Оказалось, что поэт вместе с группой московских литераторов находился в Минске, даже побывал в редакции газеты, где я работал. Но мы так и не встретились в те дни. А повидаться хотелось...

Решился я написать Александру Яковлевичу письмо, в котором сообщил, что в связи с поездкой в отпуск, буду в Москве. Ответ последовал незамедлительно. Яшин писал:

*«Дорогой Михаил Васильевич!*

*Спасибо, что хоть через 25 лет вспомнили и решили дать о себе знать. А ведь года 2 назад я и в Минске у вас был (в Вашей газете), когда приезжал туда с бригадой Литгазеты. И мы даже печатались у Вас. Если, конечно, я не ошибаюсь — речь идет о газете Белорусского военного округа.*

*Фотоснимок в парке ВРЗ у меня сохранился. Мы там вчетвером. Правда?*

*Я очень рад, что Вы написали.*

*Пожалуйста, позвоните мне, когда будете в Москве, и мы обязательно встретимся (в письме был указан телефон). Помешать встрече 5—10 июня может только одно, если я раньше Вас не выеду в Волог. область. Я жду окончания учебы своих детей и со всем своим колхозом в этом году еду на лето к матери на родину. Учебный год заканчивается, кажется, в конце мая. Но, может быть, до 5 июня мы еще проволынимся. С уважением Александр Яшин».*

Он не поставил даты, но на конверте московский почтовый штемпель наложен 21 мая 1963 года. Кстати, конверт не случайный: на нем токующие тетерева (известно, что Яшин был страстным охотником). А снимок, о котором упоминается в письме, сделан в 1932 году во

время нашей совместной прогулки в парке Вологодского вагоноремонтного завода.

Вскоре мы встретились в московской квартире поэта в Лаврушинском переулке. Быстро разговорились, словно и не прошло больше четверти века с тех пор, как мы не виделись. И не удивительно: земляки, фронтовики, во время войны оба работали в военных газетах.

Я поделился с Яшиным, что намерен тоже пожить недельку-другую в родной деревне, чтобы написать очерк о ее судьбах, преобразованиях.

— Неделю-другую? Это слишком мало,— заметил он с явным упреком во взгляде.— Нельзя писать о деревне поверхностно, обходя трудности, волнующие ее проблемы...

И теперь, когда я читаю яшинские стихи, столь любимые мною, мне кажется, что я слышу голос поэта, неизменно верного Вологодчине, где и «поныне окать не перестают». В стихах этих часто встречаются слова «Родина», «правда», «честь». И это не просто слова, а очень дорогие понятия для Яшина, в искренности которого не усомнишься.

...Улица Яшина. Я вновь возвращаюсь на нее, возвращаюсь из мира охвативших меня воспоминаний. Шумят листвою березы у белого каменного корпуса больницы. На нем табличка с именем поэта. Как это справедливо, что есть в Вологде такая улица!

## СКЛОНЯЮ ГОЛОВУ...

На родину поэта, в Блудново, я люблю приезжать утром пораньше или, наоборот, к вечеру. В эту пору деревня, раскинувшаяся среди полей, окаймленных понизу еловым лесом и сосновыми борами на песчаных буграх, наполнена звуками и кажется мне особенно домовитой.

В огородах мелькают белые платки и разноцветные, с оборками, кофты женщин. За дворами по всему внешнему кольцу деревни горят костры. Дымится в них, источая влажный и пахучий жар, летошняя ботва. Поблескивают на загонах лоснящиеся спины упряжных лошадей. В ближнем поле работает трактор, а у самого леса другой. Они, неровно гудя, оставляют за собой сизоватый шлейф гарь и легкой, будто просеянной, пыли.

Заезжую машину, тем более легковую, встречают ребяташки, как и везде в деревнях, услужливые и всегда по-хорошему любопытные. Они отворяют ворота жердевой изгороди и бегут впереди «газика», радуясь и машине и новому человеку.

Дома в деревне в один этаж. Высоких сооружений нет, разве только сушильный сарай, выстроенный за околицей и напоминающий самолетный ангар, да журавлиного типа колодцы. Их несколько в деревне, и они, как сторожа, беспокойно перекликаются друг с другом.

Река Юг, петляя недалеко от Блуднова, разделяла когда-то весь этот обширный край между двумя княжествами — Московским и Новгородским. Отсюда — прозвища, а затем и фамилии некоторых семей в округе: Московкины да Новгородцевы. Край издревле русский, былинный, с богатейшим фольклорным наследием, доселе привлекающий этнографов и просто любителей и почитателей старины.

В центре деревни стоит плотно сбитый дом — хоромы с характерной для севера компоновкой: зимовник — малая, но теплая часть избы, и большая, светлая, с бесчисленными окнами летняя половина. В конце длин-

ного посада, сразу за околицей, начинается неровное поле с живописными полуостровками бронзовых сосен. Поле, прочерченное дорогой, для меня и многих стало тем особым русским полем, по которому сейчас пройти или проехать просто так уже невозможно.

Я во всех деталях помню те тяжелые, траурные дни похорон Яшина. Вся деревня в тот день олицетворяла горе народное. Врезалось в память обилие скорбящих у дома матери поэта, их старинная одежда: сарафаны и льняные рубахи с кушаками. А люди все прибывали и прибывали: подходили и подъезжали на автобусах и машинах...

Готовились к выносу тела. Масса людей заколыхалась, слышались слезные причитания. И вдруг с другого конца деревни выскочила, гремя и подпрыгивая на разбитой дороге, запряженная двумя лошадьми повозка. Испуганные чем-то кони, дико и ошалело храпя и вращая яблоками глаз, неслись на толпу.

Я с ужасом представил в тот миг возможные последствия. На счастье, поняв опасность раньше всех, какой-то подвыпивший мужик сбоку рванулся к лошадям и сбил их с пути на боковую улицу. Но не удержался за хомутные ремни, упал...

Кони промчались, ткнулись в чей-то забор, остановились. А человек сился, но не мог подняться. На голове явственно проступал сочащийся кровью след от удара. Пострадавшего увезли на одной из машин в больницу.

Сотни людей, собравшихся проводить поэта, и не подозревали, какое крошево устроили бы эти сумасшедшие кони, не прояви этот человек находчивости... Я не суверен, но в этот момент для меня невольно связались воедино тяжелая болезнь Яшина, его кончина, похороны и этот жуткий деревенский эпизод.

Тем временем люди, взяв на руки гроб, вышли из деревню и двинулись дорогой через поле к недалекому бору. Волны спеющей ржи, дробно ударяя колосьями идущих, словно тоже провожали в последний путь поэта.

Я часто смотрю на фотографию того ржаного поля. Вспоминаю другие места, навсегда оставшиеся в памяти как яшинские.

...Вот и Бобришный угор. Сюда Яшин приезжал и жилал здесь подолгу в отстроенном небольшом доме. Сюда к нему часто навевывались земляки, писатели.

А в тот день к домику в бору собралось множество жителей окрестных деревень. Прибыли сюда и делегации творческих союзов, и многие друзья Яшина. Крестьяне, несшие на холстах гроб, остановились у могилы, вырытой между двумя березками.

Это место было облюбовано самим поэтом. После смерти Яшина мать его рассказала об этом:

— Только что подвели под крышу дом в лесу, я ходила вокруг, собирала щепу для костра. Саша радовался обнове, потом подошел к березке и сказал, испугав меня: «Мама, я лягу вот под эту большую березу».

Как стало известно, Яшин говорил про это и еще нескольким очень близким товарищам.

...Началась гражданская панихида. Автору этих строк выпала тяжелая доля и большая честь — открыть траурный митинг и сказать первое надгробное слово. Потом выступали председатель колхоза «Родина» В. Бересенев, руководитель (в то время) Вологодской писательской организации А. Романов, писатель В. Белов и другие.

Не все сказанные тогда от сердца слова запомнились. Но вспоминаю, что Василий Белов говорил о Яшине как о наставнике творческой молодежи, как о человеке, воспитавшем целое поколение вологодских писателей. Речь Белову давалась трудно, его душили слезы. Он не сумел ее закончить.

Среди присутствовавших на похоронах литераторов Белов, пожалуй, всех острее переживал кончину Яшина. Невыносимо тяжело было видеть сидящего у гроба Василия Ивановича. Не прекращался поток людей, пришедших сказать своему земляку последнее «прости», а Белов не обращал ни на кого внимания, сосредоточенно уйдя в свои мысли. Что думалось ему, человеку, которого Яшин особенно любил и ценил?..

Вспоминается, что за год до кончины Александра Яковлевича я задал ему вопрос, как он относится к творчеству Белова.

— Василий Белов, — сказал Яшин, и глаза его загорелись отцовской радостью, — на голову выше нас!

...Траурный митинг заканчивался, стали осторожно опускать гроб в могилу. Прозвучали первые звуки «Реквиема» Моцарта, его девятой части — «Слезная».

А затем, когда обряд похорон был закончен, над Бобришным угором раздался знакомый всем голос, за-



писанный на пленку. Окая, четко выговаривая слова, Яшин читал «День творения»:

Я стал — сначала несмело —  
С жизни чуть теплой, хрупкой  
Снимать скорлупу за скорлупкой,  
Стал отделять от живинки  
Мертвые скорлупинки,  
Как плод живой от постола.  
А будет ли победа?..

Поэт продолжал жить и разговаривать с людьми...

Творчество писателя — продолжение его жизни. Но живет он и в воспоминаниях хорошо знавших и любивших его людей.

Вот и мне вспоминаются встречи с Яшиным. Как-то в один из дождливых сентябрьских дней (это было в 1967 году) мы с товарищами собрались в Блудново. Зная, что Яшин на родине уже с неделю, на Бобришный мы сразу не поехали, а привернули к матери поэта.

Дочь ее Санечка, уже немолодая женщина, но так ласково величаемая именным братом, разъяснила нам, где могут быть Александр Яковлевич с матерью.

— Ищите их на пожинках или у еловиков. Они, наверное, там, — сказала она и пояснила: — После дождя рыжики слоим пошли.

Мы поехали на указанное место. Долго искали Яшина, кричали, все вконец измокли и ни с чем вернулись в деревню. Но и там Яшина и его матери не оказалось. Решили завернуть на Бобришный — может быть, они там пережидают непогоде. В лесу машина забуксовала, и нам пришлось преодолевать остаток пути пешком.

Наконец добрались до яшинского дома. К нашей радости, из печной трубы валил дым, сразу пригибаемый под шатровый лапник елей и рассеиваемый в чаще. На крыльце появился сам Александр Яковлевич.

— Гости пожаловали! Заходите, сохнуть вместе будем!

Из-за спины Яшина показалось лицо старой женщины. Она улыбалась и вторила сыну:

— Заходите, ишь как вас полило! Заходите, — снова сказала она. — У нас и печь протоплена. И грибная жареха готова.

Услышав про жареные грибы, мы решили дополнить лесной ужин своей долей и ринулись в мокрый сузем (благо терять нам, уже промокшим до нитки, было нечего). Грибов вокруг было предостаточно. Я буквально в пяти метрах от крыльца увидел целое семейство боровиков и радостно вскрикнул.

Яшин с крыльца остановил меня:

— Не рви, не нарушай грибницу. Сейчас ножик найду.

Через полчаса, когда лес заволокло сгустившейся тенью, мы все сидели в уютной яшинской избушке на грубых, но прочных топчанах. Грибная жареха исходила запашистым парком. Нашлось к столь аппетитной закуске и соответствующее дополнение.

У плиты сидела мать поэта Евдокия Григорьевна. На лице ее, освещенном жаром позванивающих углей, пролегли глубокие морщины. Мудрые, столько повидавшие на веку глаза светились радостью и счастливым покоем. Она любовалась сыном и лишь изредка вставляла в общий разговор свое словцо, но больше потчевала:

— Ешьте, крещеные, ешьте! — радушно обращалась она к нам, объединяя всех словом «крещеные».

Огня не зажигали, да и лампы никакой не было. Попытались было соорудить светильник, но попавшиеся под руки кусочки ткани оказались синтетическими и сильно чадили. Так и проходила эта встреча в полутьме, что, впрочем, не мешало нашей беседе.

Яшин делился впечатлениями о своей деревне, критиковал нас за медлительность с электрификацией, за плохое состояние дорог, сокрушался о невыкошенных пожнях и лесных сенокосах и, как всегда, много шутил, сыпал частушками, каламбурами.

Но вдруг замолчал, словно вспомнил что-то тревожное, беспокоящее его. Затем с заметным волнением и даже болью, спросил:

— А все ли пойдем друг друга? Все ли у нас ладно?

Мне подумалось тогда, что Яшин обеспокоен разговорами о нашумевших его рассказах. Очень переживал он, что иные из земляков не поняли некоторые его произведения. Поэт вообще был очень раним, а оттого иногда и резок — труден, как некоторые считали.

Один из нас попросил Александра Яковлевича почитать стихи.

— Почитать стихи?! — с удивлением, и даже с вызовом переспросил Яшин.

Это объяснялось тем, что человек, просивший почитать стихи, был одним из тех, кто пять лет назад с трибуны районной читательской конференции, обсуждавшей «Вологодскую свадьбу», предлагал отказаться от поэта-земляка. Александр Яковлевич, надо ему отдать должное, сдержался, но первыми прочитал не без намека стихи «Всполошились над лесом вороны»:

Взбудоражены криком тревожным,  
Навещать стали звери меня,  
Даже лис, на что осторожный,  
Тоже выглянул из-за пня...

Читал он и другие стихи. За окнами дома вздыхал и гудел потревоженный лес. И в этой почти колдовской обстановке вещими сказами мудрого Берендея звучали стихотворения Яшина «Исповедь», «Я обречен на подвиг...», «Добру откроется сердце».

Так и слышится его проникновенный голос:

Ступи, мой товарищ, попробуй  
И ты в холод росы,  
Сорви надоевшую обувь,  
Пройдись по земле босым.

В глаза будто ваять о детстве,  
Зеленые глянут места,  
Добру откроется сердце,  
И совесть будет чиста.

С тех пор прошло немало времени, но свежесть ощущения памятного вечера не исчезает. Вновь и вновь всплывает картина: глубокие сумерки, стонущий под ветром и дождем бор, едва различные силуэты притихших, очарованных слушателей, освещенный скупым пламенем топки орлиный профиль чтеца и зачаровывающие строки пахнущих лесом и землей стихов. Такое не забывается...

Я многое читал из того, что написано Яшиным. Посчастливилось мне не раз слышать стихи и в исполнении поэта. Не берусь всесторонне оценивать его творчество, это задача серьезного профессионального исследования. Однако, читая и слушая Яшина, я всегда ощущал родниковой чистоты и щедрости самородный талант плюс крестьянское, подчас до изнурения, трудолюбие.

В жизни народа издавна существует незыблемые, утвердившиеся понятия — такие, как земля, совесть, труд, любовь. Человеку с ними легко и сложно, и ко всему этому он в любом случае не безучастен. Таково и творчество Яшина. Нет среди нас человека, даже впервые взявшего в руки его книгу стихов или прозы, который не был бы согрет, встревожен и вдохновлен поэтической строкой и живым, народным словом писателя.

В тот вечер я не мог весть что и сделал доброго для Александра Яковлевича — лишь прочитал его стихи, предварительно попросив на то разрешение. Он был рад этому, внимательно слушал, в одном месте поправил меня, не сбывая.

Стали мы собираться. Яшин не захотел с нами расстаться, хотя мать и приготовила ему постель: набитый пахучим сеном матрац грубого холста, подушку и цветное, тряпичной мозаики домашнее одеяло. Он сначала проводил нас до Блуднова, где мы еще согрелись чайком из старинной меди самовара, а затем, к неудовольствию домашних и нашей радости, попросил взять его в районный центр Никольск, что и было сделано.

Вокруг царствовала осенняя ночь. По небу шли низкие тучи, лишь иногда позволяя звездам коротко блеснуть. Дорога после дождя была и впрямь такой, что сраму не оберешься. Но мы на это не очень обращали внимание.

Не помню уже, кто первым запел... Остальные подхватили. Песнями мы хотели как-то отблагодарить Яшина, развлечь его. Однако, как я заметил, наше самодельное искусство не достигло цели. В пении Александр Яковлевич не участвовал и был задумчив.

— Что еще спеть вам? — спросили мы его.

— А спойте одну русскую песню, где еще слова есть: «Привезли меня в деревню глухую, далекую, мужики там топорами секутся», — попросил он.

Но мы не знали напева этой старинной песни, да и слова помнили плохо. Петать же другие песни уже не захотелось.

Добравшись до районного городка, мы распрощались. А на другой день мне снова довелось увидеться с Яшиным.

Его ответный визит был несколько необычен: он пришел с одним из своих знакомых очень поздно. Открыв дверь, я приятно удивился, но вынужден был

извиниться за то, что не могу по-настоящему принять Александра Яковлевича. В ту пору мой быт совсем расстроился: жена с дочкой лежали в больнице, и мне приходилось нелегко.

Выслушав мои объяснения, Яшин спросил, в каком корпусе больницы лежит жена и тут же предложил:

— Пойдем навестим,— и, более не задерживаясь, вышел вместе со мной.

Я не представлял, как мы в такое время попадем в больницу и что вообще будем там делать. Но Яшин шел к больничному городку быстро и уверенно, и мне ничего не оставалось, как следовать за ним.

В больнице все двери были уже закрыты. Мы пошли вдоль высокого забора, надеясь войти через калитку, но и она оказалась на замке.

— Что же делать? — в растерянности спросил я.

— Ты что, не мужчина? Не знаешь, как препятствия преодолевать? — И Яшин первым легко перемахнул через двухметровый забор.

Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Дальше было уже проще. Яшин подошел к корпусу, позвонил. Дверь отворилась, и перед нами появилась испуганная медсестра. Если девушка и не узнала поэта, то все равно его вид, решительность и озорная лукавинка в глазах так подействовали на нее, что она сразу спросила:

— Вам кого?

Яшин назвал имя моей жены. Она не спала и, услышав свое имя, тотчас вышла из палаты.

Александр Яковлевич приветствовал ее:

— Добрый вечер! — и, поцеловав ей руку, стал успокаивать: — Не волнуйтесь, все будет у вас хорошо. А нас извините за такое нашествие, — душевно произнес он.

Мы поговорили еще несколько минут и тем же путем покинули больницу.

Проводив Яшина, я вернулся домой, лег, но сон не приходил. Я думал об Александре Яковлевиче, который, пренебрегая условностями, мог пойти в больницу почти ночью, чтобы поприветствовать жену товарища, сказать ей теплые, врачующие слова, поцеловать руку. В этом, как и во многом другом, проявилось столь характерное для него благородство и сочувствие к людям.

Признаюсь откровенно, я не отважился бы писать о Яшине, если бы не одно обстоятельство. Кому выпадала в жизни нелегкая доля быть у постели умирающего очень близкого товарища, тот поймет, почему возникает непреодолимое желание рассказать о нем, вспомнив добром.

О неизлечимой болезни Александра Яковлевича мы в Никольске узнали в конце апреля 1968 года. Надо ли говорить, как все мы были потрясены. Ведь только осенью Яшин гостил у нас, а совсем недавно мы читали в «Правде», гордясь земляком, новеллу о пробуждающейся природе и о том, что человек бывает не только ее почитателем, но и разрушителем. Новелла была острой, яшинской и заканчивалась словами: «Трудно писать о любви к природе под выстрелами».

Сразу же послав на больницу телеграмму, мы через несколько дней получили ответ от Яшина:

*«Никольскому райкому партии*

*Благодарю вас за телеграмму, за беспокойство о моем здоровье.*

*Меня оперировали крупные советские хирурги: академик Н. Н. Блохин, профессор В. И. Янишевский и старший хирург института врач В. И. Кныш. Оперировали уже дважды.*

*Пока мне трудно, но надеюсь, что все обойдется благополучно.*

*Сердечный привет всем друзьям и товарищам.*

*Александр Яшин.*

*15 мая 1968 года».*

Это была последняя обнадеживающая весть от Яшина на родину.

Уехала в Москву, вызванная родственниками, любимая сестра поэта Санечка. А в конце мая собрались к Яшиным и мы с женой. Только что завершился весенний сев, река Юг, прославленная поэтом, была на редкость полноводной, разливной. Короткая навигация, определяющая условия жизни района на год, прошла успешно.

Перед поездкой в Москву мы в райкоме думали: что привезти Александру Яковлевичу? Решение пришло само собой. Выкопали с Бобришного угора маленькую сосенку-двухлетку с комом мшистой земли и брусничником. Я ее упаковал, хорошо полил и повез.

Приехав в Москву и побыв короткое время в Лав-

рушинском переулке, на квартире поэта, мы сразу отправились в клинику.

— Вы к кому? — строго спросил встретившийся нам врач, когда мы в белых халатах поднимались по лестнице. — К Яшину?.. — повторил он медленно наш ответ. — К Яшину можно. — И, быстро повернувшись, пошел дальше.

Я понял, что Александру Яковлевичу трудно беспрдельно. У палаты мы встретились с Златой Константиновной и вместе вошли в комнату.

Протягивая руку, я с трудом произнес:

— Здравствуйте, Александр Яковлевич.

— Не подавай руки! — воскликнул он и повторил ослабленно, с выдохом: — Руки не подавай...

Я на миг растерялся, но тут же понял: он бережет меня, боится заразить.

Нелегко вспоминать и писать об этом... Разговор поначалу не давался мне: подавляло волнение. И, видя мое состояние, Александр Яковлевич взял инициативу в свои руки.

— Как дела районные? — поинтересовался он.

Я подробно рассказал, что весна, хотя и была хлопотной, прошла успешно.

— Скоро ли в Блуднове электричество будет? — спросил он. — Я ведь землякам обещал помочь.

К месту сказать, Яшин чрезвычайно переживал, если не мог выполнить просьбы или наказы своих земляков. Многие вспоминают отзывчивость и доброту Александра Яковлевича. Местному журналисту он выхлопотал автомашину, колхознице — пенсию, сыну старого товарища помог определиться с учебой. Н. М. Воронин — в прошлом председатель никольского колхоза — рассказывал, как Яшин, встретившись с ним в Москве, отправился вместе в Союз писателей, представил его и, достав две путевки, увез его на другой день в Ялту отдыхать. И в больнице Яшин не переставал заботиться о земляках.

Я заверил поэта, это электроэнергия в Блуднове будет в скором времени. И действительно, через три месяца в дома и на производственные объекты родной деревни Яшина был дан ток, а через год в ней, как и во всем глубинном районе области, стали принимать передачи Центрального телевидения.

Вспомнив о подарке — сосенка оставалась в прихожей — я сходил за ней.



— С Бобришного угора привет вам лесной, Александр Яковлевич!

Сосенка хорошо перенесла дорогу. На кончиках зеленых иголок блестели капли воды, она была такая свежая, пахучая... Но нас ожидало еще большее чудо: когда я вскрыл всю упаковку, мы увидели, что брусника, повинаясь закону вечной жизни, скромно зацвела белыми розеточками. У Александра Яковлевича из уголков глаз медленно выкатились две крупные слезы. Он плакал совершенно беззвучно. Только влажные полосы на лице выдавали его. Это продолжалось с минуты. Яшин справился с волнением и стал говорить о том, что хочет закончить работу над книгой.

Поэт спешил, ибо отлично понимал: дней у него осталось немного. В тот момент я еще больше убедился в высоком духе этого сильного человека, настоящего коммуниста. Он олицетворял собой мужество. Стойко перенес три последовавшие одна за другой операции, он продолжал бороться: «Ползу на амбразуру, клинок в зубах держа». И спешил сделать на последнем жизненном отрезке больше добрых дел.

Наша встреча была недолгой. Александр Яковлевич устал. Мы стали собираться.

— Походите по Москве, есть что посмотреть! — напутствовал он нас.

В период болезни Яшина в палату к нему приходили многие: друзья по литературному труду, газетчики, журналисты, издатели, земляки. И всех он оделял своим вниманием, был благодарен за искренние к себе чувства.

Но лицемерия Яшин не терпел. Рассказывали мне про такой случай... Явился с визитом к Александру Яковлевичу человек, ранее когда-то слугавивший перед ним и своей совестью.

— Пришел? — как бы удостоверая факт, спросил Яшин, глядя на посетителя.

— Пришел.

— Ну, читай «Отче наш»!

— Как же, Александр Яковлевич?

— Не можешь! — заключил поэт. — Тогда пой «Интернационал»!

Собеседник совсем растерялся.

— И этого не можешь? Тогда хоть «русского» у меня здесь спляши!



— ?!

— Вон отсюда! — произнес поэт с гневом.

Естественно, незадачливого посетителя как ветром сдуло.

Не берусь утверждать, было ли это на самом деле, но, зная прямоту и бескомпромиссность Яшина, могу представить себе такой диалог.

Между тем болезнь прогрессировала. Принятые меры оказались тщетными: 11 июля 1968 года на 56-м году жизни Александр Яшин скончался.

Известие о его смерти застало меня на пленуме обкома. Сразу же в Москву направили одного из секретарей нашего райкома.

Была исполнена воля самого Яшина. Поэта приняла родная земля, немногим более полвека назад давшая его миру.

На знаменитом теперь Бобришном угоре и в районном городке организован музей Александра Яшина. На родине поэта ежегодно в день его смерти проводится День поэзии. Интерес к яшинским местам с каждым годом возрастает.

Почему мы любим и высоко чтим Александра Яшина? Ответом на это могут стать сотни записей, сделанных в книге отзывов в музее:

«Александр Яшин много сделал для нашего Севера. Он заставил пристально взглянуться в северян и увидеть в них черты неповторимости, трудолюбия, сердечности, истинной человечности», — пишут ученики Никольской средней школы.

«Прекрасно, что комната-музей находится здесь, на родине поэта. Творчество Яшина, его жизнь всегда были связаны с родными местами. Безграничная любовь поэта к северной деревне вызывает глубокие чувства у каждого. Низкий поклон ему!» — такую запись оставили студенты и преподаватели Вологодского пединститута.

Поклонники творчества Яшина едины в том, что он был человеком, ценящим больше всего труд и людей труда, любящим свой край и свою Родину, что он почитаем народом за честность, за подчас нелицеприятную, но всегда партийную правду.

Стихи и проза Яшина и теперь в рабочем строю, они активно действуют и воспитывают новые поколения людей.

## ЯШИНСКИЕ ПИСЬМА

Письма ушедших от нас людей — это негасимый свет их души, их слышимые голоса. Минуют десятилетия, а в пожелтевших листочках осязательно хранится тепло живых рук. И время уже не выдувает его. Написанные вторых, по какому-нибудь уже забытому случаю или поводу, эти письма тревожат сердце своим сокровенным участием в продолжающейся жизни. Лишь только возьми их — и увидишь, как плотно сомкнута твоя сегодняшняя жизнь с тем временем, когда они писались тебе.

Я с 1959 года берегу письма Александра Яковлевича Яшина. Эта небольшая стопка почтовой бумаги вобрала в себя восемь лет наших взаимоотношений. Я редко доставал ее, но всегда помнил, что она есть, что только достань — и обожжешься о стремительный яшинский почерк.

Яшин писал не часто, но всегда по делу. Писал торопливо, будто с вокзала, когда вот-вот отойдет его поезд. Мысль обгоняла перо, чувство сжигало случайные слова, поэтому в письмах много зачеркиваний и поправок. Он не заботился о стиле — некогда было, а хотел только одного — всколыхнуть, наставить и поддержать человека. Уверен, так писал он всем, судьбой кого был озабочен.

Многие годы я никому не говорил об этих письмах. Лишь недавно решил коснуться их, как далеких костров, от которых искры летят нам вслед и не гаснут до времени.

Вот часть письма от 18 октября 1962 года:

*«Посылаю тебе вырезку из ж. «Москва»... — о твоей книге, о тебе. Понимаю, что у тебя уже есть такая: но лишняя не во вред. Сожалею, что ты уже закончил ВЛК и покинул Москву, реже видеться будем. Одного желаю: пиши больше, чаще, постоянно пиши, накапливай свое богатство! Имей в виду, что нынешние очень известные молодые — Евтушенко, Рождественский, Цы-*

бин — берут и количеством. «Гений — это количество» — записал в своих дневниках Жюль Ренар... В. Белова приняли в члены СП единогласно, как исключительно талантливую прозаика. Мне было приятно еще раз убедиться, что я был прав...»

Сделаю некоторые пояснения. Весной 1962 года я закончил двухгодичную учебу в Москве на Высших литературных курсах и, уезжая в Вологду, подарил Александру Николаевичу Макарову, руководившему нашим творческим семинаром (вместе с Ярославом Смеляковым), свою новую книжку «Сыновья любовь». Подарил стеснительно, с робостью, так как за два года занятий мы, слушатели курсов, узнали и полюбили А. Н. Макарова как блистательного литературного теоретика и критика, а более всего — как человека редкой душевной чуткости. Конечно, я не мог рассчитывать, что он, заваленный новыми книгами со всей страны (многим хотелось, чтобы о них что-нибудь сказал именно А. Н. Макаров), удосужится написать рецензию о моем сборнике. Однако он написал рецензию «Забота и нежность», вырезку которой из ж. «Москва» и послал мне Александр Яковлевич Яшин.

Послать журнальную вырезку — казалось бы, что тут особенного? Однако этот случай оказался единственным в моей литературной жизни. И он красноречивей всего говорит о том, с каким пристальным, бережным, даже ревнивым вниманием относился Александр Яковлевич к нам, тогда молодым его землякам.

Особенно внимательно следил он за развитием Василия Белова. И в этом письме горделиво радуется, что оказался прав: первым посоветовал Белову перейти на прозу.

А вот часть письма от 14 февраля 1963 года:

*«Спасибо за поддержку. Считаю, что ты поступил и благородно и мужественно не только по отношению к моей вещи, а по отношению к жизненной правде и, главное, по отношению к самому себе.*

*Ржа ест железо, лжа — душу. Человек, проявивший слабость единожды, может на всю жизнь остаться с переломленным хребтом. А для того, чтобы честно и плодотворно работать в литературе и служить народу, надо иметь хорошее здоровье и прямую спину.*

*Хочу тебе сказать, дорогой друг, чтобы ты не волновался: все будет хорошо, все со временем выправится. Дело не в одной Вологде, свет на ней клином не сошел-*

ся. В Москве «Вологодская свадьба» принята *очень* хорошо. Писем идет очень много со всех концов — и мне, и в «Новый мир» Твардовскому, и, конечно, в «Известия», и в «Комс. правду».

«Открытое письмо» и заметка студента состряпаны *очень грубо*, по старому, давно осужденному методу, и всем это сразу стало ясно. Я в контакте с нашим партийным руководством и с Твардовским, и с рядом других товарищей. Они считают, что нет никаких оснований нервничать и торопить события. Я полагаю, что люди из Никольска, подписавшие письмо, изменят свое мнение о «Вологодской свадьбе», когда сами прочтут ее...

Оживление, наступившее в литературе, — процесс *необратимый*. В нем отражение общего политического курса партии на демократизацию жизни в стране, объявленной еще XX съездом. Этот курс, естественно, не все проводят с одинаковой последовательностью, а многим он просто не по душе — в этом все дело. Но литература советская должна стать «совестью народа» и станет ею, иначе она не сможет выполнить своей роли «первой помощницы партии». Кое-кому легче организовывать «письма», чем заниматься настоящей большой работой среди молодежи, в народе. А в Вологде, вероятно, еще обрадовались и возможности взять реванш за статью «Ладно ли?..»

Двадцать с лишним лет прошло, как послано это письмо, а каждое слово — в точку. Вот что значит прицельная зоркость писательской совести! Мне остается пояснить здесь лишь немного. Очерковая повесть «Вологодская свадьба» была напечатана в журнале «Новый мир», который в ту пору редактировал А. Т. Твардовский. Обсуждалась, а вернее, осуждалась она в Вологде незадолго до этого письма. В городском Доме культуры при стечении множества народа в защиту ее выступили немногие, в том числе и я, но наши голоса были смяты иными ораторами. А в статье Яшина «Ладно ли?» («Литературная газета», 4 окт. 1962 г.) говорилось с болью о том, что в Никольском районе остаются под снегом травы по берегам рек и на дальних лесных полянах, а скашивать их для личного скота не разрешается.

Сегодня каждый может раскрыть «Вологодскую свадьбу» и убедиться, что Яшин, изображая деревенскую жизнь шестидесятых годов, ни в чем ни покривил

душой, не отступил от правды. Он был в ряду зачинателей так называемой «деревенской прозы», которая ныне могучим потоком влилась в советскую литературу. Он, коммунист, раньше многих партийцев, особенно местных, сказал прямо и честно о неблагополучии в нашей жизни. Но грубые и лживые упреки в искажении действительности, обвинения в очернительстве не прошли для Яшина даром.

Весной 1963 года он пишет:

*«Я в начале апреля снова поеду в Никольский район. Буду жить в дер. Скачково и работать. Хорошо, если бы В. Т. Невзоров догадался связаться до этого с Никольским райкомом, чтобы они не опасались оказывать мне кое-какое содействие в работе и в жизни, изменили бы отношение ко мне. Без райкома там даже не добраться от аэродрома до деревни. А сами они без указки не знают, как теперь относиться ко мне. Скачково — это деревня, в которой была написана «свадьба». Без Никольского района у меня ничего не пишется. Хочу жить там всю весну и лето, а м. б., и осень. (М. б., летом побываете у меня, Сашенька, а?) Жду весточки от Василия Белова. М. б., у него хорошие тетеревиные тока и сначала стоит съездить к нему...»*

Какая незащитность, откровенность и чистота души! Перечитываю письмо — и ком стоит в горле. Тяжелые наступили для Александра Яковлевича времена. А как, чем помочь? Ну, продвигал я присланные им стихи в «Красный Север» и «Вологодский комсомолец» — печатали. Но гонорар-то здесь газетный — что это для многодетной яшинской семьи! И казню себя, что не съездил к нему в Никольский район, а поздние покаяния с годами все горше и горше...

Потом получаю от него такое письмо:

*«Я чувствую себя очень больным, худею, теряю силы. Когда высказывал врачам свои подозрения и просил искать причины, меня успокаивали и старались все объяснить нервным напряжением, «переживаниями», а болезнь называли «ракобоязнь», будто бы очень распространенною в наше время. Но вот на днях меня кладут на операцию. Даст ли она что-нибудь, не знаю. Но я, кажется, даже не огорчен, так в последнее время жизнь сложилась для меня неинтересно. Может быть, позднее еще и жалеть буду... Работать мне уже давно не хочется, а это еще больше подрывает силы...»*

Теперь-то мы знаем, что Александр Яковлевич ни-

когда не прекращал работы, и если сетовал, что ему не пишется, то это означало лишь то, что работалось ему не так, как хотелось бы, как требовал его самобытный талант. Яшин всегда взваливал на себя огромную ношу неотложных замыслов, торопился исполнить их и одновременно писал несколько вещей. Дома, в дороге, в больнице — нигде не расставался он с рукописями и рабочими тетрадями, и чем тяжелее обрушивались удары судьбы, тем жарче горело перо в его руке. Поэтому так высоки и строги были его требования и к нам, писателям-вологжанам.

Об этом можно судить хотя бы по его письмам, посланным из Кисловодска (там он был после лечения в больнице) и по дороге оттуда.

В первом, от 13 января 1964 года, он пишет:

*«Я в Кисловодске, и книгу Вашу и письмо мне привезла Злата Константиновна уже сюда, потому так поздно и отвечаю. Еще не изучил всю ее, но я Вас очень люблю и уважаю как поэта и человека, и мне приятно, что в книге есть посвящение мне. Вот прочитаю поэму снова, тогда, м. б., скажу кое-что и по существу... Я в Кисловодске провел и Новый год. Пил лекарство вместо вина и валерьянку, как баба какая. А потом рассердился и рванул коньяку да так, что чертям тошно стало. Злата Константиновна приехала выручать меня. Почти все время лежу. Того будто бы не оказалось, но я все нездоров. В Москву возвращаюсь на днях...»*

Здесь речь идет о моей книжке «Семизвездие», в которой напечатана поэма «Художники», посвященная Яшину. Но к разговору о ней он больше не возвращался: видимо, поэма показалась слабой. Примечательно здесь определение чтения как изучения книги.

Во втором письме, от 24 января 1964 года (поезд Кисловодск — Москва), Яшин сообщает:

*«Сегодня мы с Златой Константиновной перечитали в пути всю Вашу книгу «Семизвездие». Многие стихи нам очень нравятся. Писать Вы стали свободно и как-то легко, по-хорошему легко, без сочинительства. Поэт Вы истинный. Но, думается, что работаете Вы все еще не в полную силу. Мало! Не трещат брюки в шагу. Не ставите перед собой больших задач, не лезете на рожон, не стараетесь выскочить выше своей головы.*

*А надо стараться! Надо лезть на рожон, на стенку, надо пытаться укусить собственный локоть! Сейчас самое время, возраст подходящий уже для этого. Надо,*



*Сашенька, надо! Поймете ли Вы меня? Вы можете сделать очень много, Вам все дано. Не хватает, кажется, только обеспокоенности, страстного рвения к большому труду, к подвигу. Нельзя долго удовлетворяться тем, что выпускать просто один сборничек за другим — спокойно, не очень торопливо, почти благодушно. Пожалуйста, поймите меня. У Вас есть силы совершить что-то большое, большее, чем то, что Вы сейчас делаете.*

*Прочитайте в одном из последних номеров «Недели» («Известия») стихи Людвиг Ашкенази. Вот где поэзия! Это выше и конкретнее «Человека» Межелайтиса. А Белочка Ахмадулина, о которой Вы вспоминаете немножечко иронически, напечатала в № 12 «Юности» уже прозу — и какая же это живопись!.. Я Вас люблю, потому и пишу так...»*

Привожу эти выдержки из письма с чувством понятной неловкости. Делаю это лишь потому, что в них — яшинское завещание всем, кто берется за писательское перо. Особенно молодым товарищам, идущим нам вслед.

Признаюсь, в ту пору, когда получил письмо, я был настолько взволнован, что долгое время не открывал своих рабочих тетрадей. Боялся открыть — так немощно и слабо казалось все, что в них писал. Душа была опалена яшинскими словами, его страстным призывом.

И теперь, по прошествии стольких лет, я, к сожалению, не могу сказать, что завет Александра Яковлевича выполнил. Но он постоянно тревожит мою совесть, не дает покоя, заставляет глубже всматриваться в жизнь и в свое слово. А ведь самому Яшину в пору, когда писалось письмо, только-только перевалило за пятьдесят. Вот какая таилась в нем сила!

А в письме от 4 апреля 1965 года он, одобряя, что я взялся за прозу, советует при этом:

*«Прозу начали писать — это очень хорошо! Надо делать все, пока Вы молоды... Васю Белова слушайте и даже слушайтесь (простите меня за откровенные поучения). Помните: это очень большой талант, большой писатель и умница. Это редкий человек. И никакая дурь ему никогда в голову не ударит, он — сила. Дорожите дружбой с ним, не пренебрегайте его советами, даже молчаливыми... С ним Вы не собьетесь с пути правды и подлинного искусства. Верьте мне в этом, Саша! И бойтесь карьеристов, дельцов от литературы, чиновников. Ни у Васи, ни на родине мне, видимо, долго (либо уже совсем) не бывать. Я что-то очень*

*слабею, худею. А, может, еще и справлюсь... Да! В своем таланте никогда не сомневайтесь. Он у Вас есть, и никому у Вас его не отнять, разве только Вы сами. Сомнения преодолеваются работой, только работой. Мало Вы пишете, мало!..»*

Ну, что тут сказать! Напор, каким наполнено это письмо, убедителен и непререкаем. В нем свет для сомневающего сердца и открытая дорога для дружбы и работы на многие годы вперед.

Через две недели, 19 апреля 1965 года, другая весточка: даже не письмо, а приложенный к чужому письму листочек, со словами: *«Почитай, посмотри... Переслали мне его из Центрального телевидения, а я — тебе в порядке информации. Зачем мне оно?.. Вчера мне из высокого учреждения было сообщено по телефону, что моя просьба о внеплановой, досрочной электрификации моей родной деревни Блудново удовлетворена. К работам уже приступают. Видимо, в июне земляки, мои соседи, получают свет. Возможно, что доведут линию и до моей избы на Бобринском угоре...»*

Обрадованный тем, что его нелегкие хлопоты в Москве о досрочной электрификации родных деревенских мест увенчались наконец-то успехом, Александр Яковлевич в тот же день взвинчен оскорбительным письмом из Вологды, посланным на Центральное телевидение.

Привожу выдержки из этого письма:

«Во время передачи «Приветствуем космонавтов» 20 марта с. г. мы слушали выступление по телевидению поэта т. Яшина — нашего земляка, и нам очень не понравилось его выступление: т. Яшину представилась такая замечательная возможность... передать приветствие от всех земляков-вологжан нашему герою-космонавту Беляеву Павлу Ивановичу, а он вместо этого передал приветствие только от лесных обитателей нашей области (медведей, лис, горностаев и пр. зверей), а не от советских людей, его земляков... И очень неприятно слышать это от своего земляка, казалось бы, современного поэта. Возможно, он хотел поздравить в шуточной форме, но этого, на наш взгляд, у него не получилось, а, напротив, его выступление обидело и даже оскорбило нас — вологжан. Он пригласил героя-космонавта только на охоту, а не посмотреть наш областной город, наши промышленные предприятия, колхозы и совхозы нашей области... Видимо, т. Яшин не сделал



соответствующего вывода после критики его произведения «Вологодская свадьба» и до сих пор живет своими устаревшими взглядами на жизнь вологжан, поэтому, очевидно, не случайно он назвал нашу область «семнадцатой республикой»... Да, следует еще отметить, что и его предшественник, который выступал до т. Яшина со стихами «О горностае», тоже не блеснул своим дарованием, а очень хотелось бы побольше интересных, содержательных выступлений. г. Вологда. Портниха швейной фабрики «За культурный быт» Миролюбова А. М., офицер запаса Миролюбов А. Н., инженер конструкторского бюро Лучкина М. Ф.».

Вот так! Ни больше ни меньше! Что это? Как это назвать? Безграмотностью, глупостью, грубым догматизмом? Все это в письме налицо, а в придачу еще и отвратительное высокомерие, ни капли уважения к поэзии, к труду и имени известного в стране писателя, лауреата Государственной премии СССР, своего земляка Александра Яшина. Горько, очень горько было читать ему такие несправедливые письма с родины!

Никто из нас не застрахован от ошибок или промахов в делах и в жизни. Тем более в такой жизни, которая всегда на виду у людей и отдана им же, людям, до последнего дыхания. В моем Петряеве старые крестьянки (вот умницы!) в подобных случаях говорят: «И худ, да свой — не бей при мне». А между тем, как подтвердило время, никакой ошибки с «Вологодской свадьбой» и другими прозаическими произведениями Александр Яшин вовсе не совершал. Наоборот, они многое прояснили в сознании внимательных читателей и оказались у истоков нынешних коренных преобразований российского Нечерноземья.

Дело, как говорится, прошлое, но выдержки из клеветного письма (кстати, оно подписано от имени трех человек, но одной рукой; думаю, что за всех расписался автор письма, офицер запаса А. Н. Миролюбов) я был вынужден привести как пример недостойной критики, как отрывку старой практики, которая, к сожалению, нет-нет да и ныне проскользнет. И еще процитировал потому, чтобы наглядно показать, как опрометчиво и небрежно иной раз мы судим о трудных писательских делах.

В заключение поясню, что упоминавшийся в письме «предшественник» Яшина по телепередаче, который тоже «не блеснул своим дарованием», был не кто иной

как один из талантливейших современных русских писателей Владимир Алексеевич Солоухин. И ему заодно попало — не садись рядом с Яшиным!

И еще замечание по этому поводу. Когда мы с Сергеем Викуловым были в Звездном городке в гостях у прославленного нашего земляка-космонавта Павла Ивановича Беляева, то в дружеском разговоре выяснилось, что он хорошо знал вологодских писателей, читал их произведения, особенно яшинские. Так что обидеться он не мог за приглашение Яшина на охоту в родные вологодские леса. Вот ведь как получается, когда в критиканском запале суждение выносит неосведомленность и бессердечие.

А Яшин в ту пору уже тяжело болел, но держался, как всегда, мужественно и верил в лучшие перемены. В письме от 18 июня 1965 года он, в частности, сообщает:

*«Видимо, ты передал какие-то мои стихи в «Красный север» и они там были напечатаны. Злата Константиновна сообщила мне, что получен перевод, но газету не послали. Я живу в Ленинграде. Кроме как через тебя или через Васю Белова я не смогу получить эту газету со стихами. Если не сочтешь за труд, перешли мне при случае. В Ленинграде я на этот раз с сыновьями — Сашей и Мишей. И опять свои дела отходят на второй план: все хочется, чтоб ребята получили от этой поездки больше. Таскаю их всюду (мы на машине), устаю до смерти, а им все мало и мало.*

*Перед Беловым чувствую себя очень виноватым — заставил человека ждать зря. В «Новом мире» в № 6 или 7 у меня идет небольшой рассказ «Угощаю рябиной» — так, безобидный. Но хочется, чтобы он понравился хотя бы тебе и Васе.*

*Твардовский лежит в больнице — началось заболевание ног из-за неумеренного курения, нет пульса и что-то еще в этом роде. Все обезножим, если будем так жить. Останутся на свете одни умеренные и аккуратные... Скоро уже мои дела поправятся, надеюсь. А когда ты соберешься сделать избранное для «Советского писателя» или новую книгу? Кажется, я уже смог бы сейчас поддержать. Не забывай о лежащем камне, под который вода не течет».*

Опять распахнутость души, трогательный порыв сделать добро, предостеречь, помочь. И какое скромное о себе мнение: о своем, может быть, самом лучшем рас-

сказе «Угощаю рябиной» он говорит: «...так, безобидный. Но хочется, чтобы он понравился хотя бы тебе и Васе». Право же, нет таких слов, чтобы выразить все мое сердечное смятение от вновь прочитанного письма. Только ясно, совсем близко вижу самого Александра Яковлевича — из-под густых, рыжеватых бровей чуть усталый прямой взгляд. Не отвернуться, не отмолчаться — он пронизывает все мое существо.

Неужели Александр Яковлевич в самом деле думал, что рассказ «Угощаю рябиной» так себе, рядовой? Или, может быть, без отдыха ворочая тяжелые и острые темы, он в этом рассказе лирически расслабился и поэтому показалось, что получилось что-то «безобидное». Теперь уже не спросишь. А рассказ «Угощаю рябиной» рдеет в современной литературе задумчивой русской зарей. Не случайно чуткие к тонкостям душевных переживаний японцы перевели его на свой язык.

И еще одно пояснение. «Виновность» перед Беловым состояла лишь в том, что Яшин пообещал весной 1965 года приехать к нему в Тимоиху, но из-за семейных и прочих обстоятельств вовремя не смог собраться. Поехал туда через год.

По этому случаю он пишет 5 марта 1966 года:

*«...Еду до станции Харовская, а оттуда к В. И. Белову. Надеюсь на кое-что поработать. Вася обещает, что возможности там будут,— и побродить на лыжах по лесам, тетеревов поугадать. В Вологде буду утром 10 марта, но я решил не останавливаться, не знаю, осудите вы за это меня или нет...»*

Боже мой, осудить его за то, что проедет транзитным поездом мимо Вологды! Хорошо помню десятиминутную остановку на вокзале. Я увидел Александра Яковлевича в растворе вагона. Без шапки, в меховой, как у летчиков, куртке и в унтах, он спустился с подножки и сгреб меня в широкое и крепкое объятие. Волосы его трепал снежный ветерок, а лицо сияло от возбуждения. С высоты своего роста он, наклоня голову, смотрел на меня тепло и благодарно, за то, что не забыл его встретить, что прихватил с собой кулек вологодских пирожков, от которых он поначалу отказывался, но потом взял: пахнут родиной. О чем говорили в те минуты, не помню, но остался в душе его образ: бледное, со следами страдания и все-таки радостное лицо, взгляд, полный азарта, новых надежд и глубоко спрятанного сомнения. Яшин, высунувшись с вагонной

площадки, еще раз помахал рукой и скрылся за взметнувшимся снегом.

Остановлюсь еще на одном письме от 28 января 1967 года. Оно передано из вологодской больницы, где Александр Яковлевич лечился от гриппа. Состояние его было тяжелое, в палату не пускали. Мы с Александром Сушиновым принесли ему кое-каких гостинцев и только что купленный однотомник Бабеля. Вот что он, в частности, написал (почерк нервный, прыгающий...):

*«Милые, дорогие Саша-2-Саша! Думаю, что у меня не было гриппа. Еще не встаю, хотя сегодня утром температура была уже нормальной (после 40,2°). Сейчас опять повышается, чувствую.*

*Бабель — очень дорогой подарок... Мне ничего не надо. Но я очень ослабел. Даже о женищинах больше не думается и о медвежьей берлоге тоже. А ведь Саша Романов, наверно, знает, как это организовывалось, и, кроме того, — в «Новом мире» дважды набирали подборку писем, но цензура не дала. А у меня есть дивные письма из деревни, от учителей и проч. — две папки.*

*Я очень рад, что вы рядом. Спасибо, что пришли. Ребята! Надо бросать пить и курить совсем! Саша, я слушал о твоём выступлении на парт. активе только хорошее. Жаль, что я не смог быть, а пропуск был...»*

Когда медсестра передала нам яшинский ответ, я очень встревожился: в письме опять горечь, связанная с «Вологодекой свадьбой». Прошло уже почти четыре года, как она была опубликована, а ему все нет покоя. Видимо, ночью от высокой температуры бредил, и горячее состояние отразилось на почерке и в самом письме. Теперь я не сомневаюсь, что болезнь, сразившая его в расцвете сил и таланта на пятьдесят шестом году жизни возникла от нервных потрясений. Кто знал его, помнят, какой это был крепкий человек. Глядя на него, рослого, жилистого, гордого, всегда думалось: нет ему износу, он что дерево из никольского сузема, которое под грозой стоит прямо, а под ветром звенит каждой хвоинкой. Природа создала его на долгие годы, для большого подвига. И сделал он многое — проложил трудную дорогу к правде жизни, но на этой дороге сгорел и сам. Писательские перегрузки на этом пути очень тяжелы. А тут еще всякие упреки-попреки и обвинения...

Возвращаясь к письму, добавлю, что и в те моменты, когда Александру Яковлевичу было плохо, он оставался самим собой, пытался заслониться шуткой, иронией. Вот

и здесь он, страстный охотник, горько отшучивается, что уже не думает о медвежьей берлоге. А упомянутый им в письме актив проходил в Вологде, в обкоме партии, и я выступал на нем с отчетом о работе нашей писательской организации. Кстати, Яшин всегда был в курсе дел в области. Неизменно бывал в обкоме, в облисполкоме, в райкомах партии, в местных газетах — везде отзывно горело его сердце на добрые начинания. Он рвался к ним, участвовал в них, был кровно связан с родным народом и творил добро во имя народного блага. «Спешите делать добрые дела!» — этот завет он оставил нам и всем, кто входит в жизнь.

Я перелистал некоторые сохранившиеся у меня письма Александра Яковлевича, и душа вновь объята благодарностью к нему, и болью, и гордостью, что год от года все теснее встают на читательских полках его страстные, совестливые и жизнеутверждающие книги, выпускаемые разными издательствами страны. Яшин — не позади, он по-прежнему — впереди нас.

## БОБРИШНЫЙ УГОР

В глаза, будто память о детстве,  
Зеленые глянут места,  
Добру откроется сердце,  
И совесть будет чиста.

*Александр Яшин*

Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но иногда опускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой.

Июльский сумеречно-теплый лес неторопливо готовился отойти ко сну. Одна по-за одной смолкали непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темной елки. Затвердевала смола. И ее запах мешался с запахом сухой, еще не опустившейся наземь росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души; он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как вест покоем от твоей старой и мудрой матери...

Ах, тишина, как отрадна и нетревожна бывает она порой, как хорошо тогда жить. И это была как раз та счастливая тишина. Хотя где-то неопределенные и по происхождению явно человеческие звуки выявляли окрестные деревни. Но это еще больше оттеняло лесную, здешнюю тишину. Тишину и суть нашего состояния. Суть же нашего состояния заключалась в том, что кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, засыпающий лес, и жила июльская ночь, и была везде наша родина...

Обычно большие понятия ничего не выигрывают от частого употребления слов, выражающих их. И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими словами, либо ищем новые, еще не затасканные досужими языками и перьями. И обычно ничего не выходит из этой затеи. Потому что большим понятиям нет дела до словесной воз-

ни, они живут без нашего ведома, снова и снова питая смыслом и первоначальным значением слова, выражающие их. Да, лопаются, наверное, только ложные святые, требуя для себя все новых переименований. Я думал об этом, слушая крик затаившегося коростеля. И вдруг ощутил еще невидимый Бобришный угор. Ощутил мощный ток покамест неслышимой реки, ее близость, ее движение, хотя ничто не выдавало того движения: ни шорох воды, омывающей камни и береговую глину, ни запах рыбной и травяной влаги. Нет, ни этого шороха, ни этого запаха, обычно сопутствующего настоящей реке, еще не было,—я услышал их намного позднее,—но я уже знал, что Бобришный угор тут, рядом. Хотя никогда не бывал в этих местах.

Волнуясь, я перелез осек — высокую изгородь, которая определяет границы лесных выпасов, и увидел опять, как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась от нее и пропала, а в нетревожных сумерках, в этом готовящемся к ночному покою лесу я увидел домик. Домик с белым крыльцом, на Бобришном угоре. Он стоял на неширокой полянке, осененный спящими соснами. Трава вокруг его рубленых стен белела цветочками земляники. Она, эта ягода моего детства, особенно густо, белой полосой, цвела позади домика: я стоял на одном месте, боясь переступить и растоптать хотя бы одну звездочку из этой белой полосы. Млечный путь далекого деревенского детства... Тотчас же родилась где-то между ключицами и остановилась в горле жаркая нежность к этим звездочкам. Я присел на корточки, сжимая зубы, погладил теплые травяные пряди. И тут же с гнусной издевкой изловил себя на сентиментальности. Стыдясь чего-то, проглотил щемящий горловой комок, одумался. Но, собственно, зачем было одумываться? На секунду родилось мерзкое чувство отвращения к самому себе, и я в несколько затяжек прикончил горькую сигарету. Но домик на Бобришном угоре был печален и ясен. Он легко, с непринужденной и незаметной для меня властью вернул мне прежнее состояние, навеянное гармонией широкого засыпающего леса. И я опять долго смотрел на земляничную россыпь. Казалось кощунством бросить окурок в эту первозданную чистую траву, я затолкал его в спичечную коробку. Наверное, огонь не был погашен до конца, потому что спички вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил меня ощутить,



как легок, незаметен, как чист воздух здесь, на Бобришном угоре.

Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву, виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалёка, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно зангрывая с Бобришным угором. Тот противоположный берег был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там, в воды, белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная извилистой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Коростель как раз и жил, видать, в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была покойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва ступшеывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну еще не кошенного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.

Ты был праздничен и не успевал совладать со все нарождающимися своими чувствами. Не успевало остынуть одно, как рождалось другое, еще более сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном угоре. Под ступенью крыльца мы нашли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, рядом же, почти под нами, ясная, бессонная, стремилась река.

— Здравствуй, земля моя родная!

Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи, встречи с родной землей, не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно.

Потому что опять же слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету



разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин: полоса пропускания. Некое устройство органичивает, обрубаёт в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубаёт, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить...

Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня — жена твоего племянника, принесшая хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой, в деревню, а ты принес из сенцев дров и затопил печь. И огонь словно вдунул душу в домик на Бобришном угоре.

Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи.

Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не позволяла совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы не грешили знакомства с другими краями. Потому что жить без этой малой родины-невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина...

Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть родина...

Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая Родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься.

Как жарко топится печь! Комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь на огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших

минут похожа на невозвратность слоеных речных струй, вода, так же как и время, никогда не вернется обратно.

Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня.

Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только начинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Совсем рядом несколько раз принимался щелкать соловей. Словно боясь быть веселее других, он дважды, не сдержав, видимо, собственного восторга, переходил на пение и тут же, будто от застенчивости, замолкал. Прямо за домом раскатисто, многоколенно журчало горло дрозда-дерябы, везде по кустам с девчоночьим озорством цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство.

Бобришный угор пел на все голоса. В бездонном небе тонули и все не могли утонуть сосновые кроны. Редкие облака, казалось, висели недвижимо, а сосновые кроны и все лесные верха плавно, бесшумно и широко стремились им навстречу. А внизу, на теплой, словно рассолодевшей земле, все копошилось, цвело, росло, торопилось жить.

Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой, осыпанной иглами тропе я съехал к реке, чтобы умыться. Было видно, как муравьи узким сплошным потоком через весь склон угора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе как муравьиный водопой, под самыми окнами домика на Бобришном угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке; другие так же суматошно от реки, вверх. Мне стало жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых, живых комочков, движимых одинаковым инстинктом,

ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять, как вечер на сентиментальности, я поймал себя на излишнем философствовании. Снял рубашу и долго, бездумно, с какой-то странной созерцательностью тер щеткой зубы. Паста воняла нефтью, искусственностью. Я обелил этой пастой нескольких муравьев и стал следить за ними: они как ни в чем не бывало продолжали свой муравьиный поход. В это время опять чмокнул давешний соловей. Я тотчас забыл про муравьев, сбегал за удочками, размотал леску...

И вот мы маячим на высоком, тихом, зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие, мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обрубив листья, с хрустом закусываю; кислый и сочный, щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, что мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, с кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще ни разу не ознобила душу своим безжалостным инеем. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме, звучит коровий колокол, а мы с наживкой в рукавице неумоимо ходим от заводи к заводи. Ищем, ждем хорошего клева и у каждого нового куста верим в большую добычу. И каждый куст обманывает нас, и мы вслух придумываем причины безрыбья. Впрочем, уха у нас уже есть. Но тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда.

Мы молчаливо глядим на три крохотных беззащитных яичка. Рядом стремится куда-то твоя родная река, над нами шумит от ветра, зеленеет Бобринный угор. Его крохотный житель — зук — тревожно свистит, а мы глядим на гнездо, и нам хочется скорее уйти, чтобы не мучить зуйка.

Дома, вытряхивая из холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землей, ты говоришь, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спи-

тым чаем. Потом, забыв про червей, волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу:

— А знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?

Я не знал, что профессиональное заболевание у дятла — сотрясение мозга... С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке сени. Гляжу и дивлюсь, сколько же нужно было тукать, чтобы пробить эту дыру в стенке, какое нужно упрямство! Но самое интересное то, что дятлова дыра сделана в десяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое окошечко. И я все еще не могу до конца отдалиться Бобришному угору, не могу без своих дурацких аналогий.

При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а стенкам нет конца и жизнь коротка, словно цветение шиповника на Бобришном угоре.

Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить. Моя стеснительность, наверно, крестьянская, все время сковывала меня, отчего иногда я не выглядел откровенным в твоих глазах. И в них нередко мелькала тревожная настороженность. Но что я мог сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? Самое лучшее — взять ружье и уйти на тягу.

Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь и было в общем-то счастье. Оно складывалось для меня из лесной свободы,

усталости от обычной ходьбы, из ржаного ломтя, из смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна домика в сумерках, костер, раздвигающий тьму. Сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники. Но сейчас я думаю о том, что человеку нужно, наверное, узнать все прелести цивилизации, прежде чем прийти к такому пониманию счастья. Нет, людям нужно и то и другое. И свист рябчика не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонившая эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься бескровных столичных мимоз. Не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих ТУ с их леденцами и пристежными ремнями... Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и другое, а им лишь одно, так насто-роженно-недоверчивы к нам твои земляки?

Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. Жили-были дед с бабкой, у них ничего не было. «Давай, старик,—говорит старуха,—слепим сынка из глины, а то никого у нас нет». «Давай»,—говорит старик. Слепила старуха сынка из глины, Ивана Глиняного. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный и их съел. Дошел до леса, навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, но медведь ему не поддался. Распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и мужики с косами. Мужики и давай медведя бить. Били, били и уколо-пили...

Ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу. К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть, но что-то тут неладно... Что и кому надо прощать и где граница между великодушием и необходимой самозащитой? И почему многие люди вообще не прощают великодушия, как те косцы, которые убили медведя? Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного,—может, нам в брюхе-то лучше было...

Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но добро, которое делают положительные герои, и впрямь так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что положительные герои и в жизни обычно вовремя по-

гибают. Тем более в книгах. У писателя не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности, и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, предоставляя расхлебывать заваренную им кашу новым, таким же неколебимым героям.

Герои, герои, герои... Как часто думается о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может, есть сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может быть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность. Но так трудно быть человеком, не огрубеть, если не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь стоит даже самым нежным ногам одно лето походить по тайге, и ноги те огрубеют, покроются толстой кожей. Кожей, не способной ощутить раздавленного птенца. Не потому ли все мы так изумительно научились оправдываться невозможностью рубить лес без щепы и ограничивать борьбу за новое всего лишь разрушением старого? Чтобы разрушить, всегда требовалось меньше ума, чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. Ах, как любят многие из нас разрушать, как самозабвенны, как наивно уверены в том, что войдут в историю. Но ни один хозяин не будет ломать старую избу, не построив сперва новую, если, конечно, он не круглый дурак; ведь даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в покое прежний, иначе им негде будет укрыться от дождя. Я оставлял эти клочковатые мысли в своих лесах, бродя босиком, босиком по земле, и шишки стучались об нее, цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась под нашим домом. Жаль, мы так и не выкупались ни разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась под угором, такая же невозвратная, как наше время.

Там, на Бобришном, однажды я совсем потерял чувство времени. Помнится, время как бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого в ряд, утеряло последовательность, все сконцентрировалось и слилось в одной точке. Не существовало и будущего, было только одно настоящее, то, что уже есть, и это было странно счастли-



вое состояние. Нет времени. Нет вечности — ни той, которая позади нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, есть нулевые координаты времени. Странное, необъяснимое состояние. Я глядел на все окружающее каким-то внутренним взором, мне казалось, что я слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло.

Рябчик свистел за твоим домом, то печально звенели комары, пахло солнечной хвоей, то виднелись в окнах неподвижные в мягких сумерках ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток.

Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия. Меня иногда мучила твоя излишняя заботливость, мне хотелось нейтральности, дружеского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и жалуясь на обилие и назойливость всевозможных гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам, когда гости маскируют ухой самое банальное желание выпить или лишний раз напомнить тебе, кто есть кто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с пятого на десятое слушал тебя. И вдруг вздрогнул: такое горе, такая скорбь просочились в твоем голосе. Ты говорил о своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце оттого, что твои слезы не были слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь: горе это неутешно и необъятно. И в домике на Бобришном угоре всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго глядел в сизое, тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный пепел и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно, далеко гремел гром, он, то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к неживой вечной

природе и чувство жалости к людям и самому себе — все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер нарастал с каждой секундой. Я медленно уходил от грозы, преодолел густой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком сосняке не было ни листочка, ни травинки: один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза. Но ее грохот, ее вселенская истерика казалась мне нелепой, бессмысленной: на кой черт все это! Для чего и зачем? Ведь даже и те умрут, кого еще нет, кто еще не родился...

В доме я увидел тебя сидящим за тем еловым столом, ты оглянулся и спросил, не промочил ли я ноги. Помнится, в твоем взгляде было то самое, непостижимое для меня выражение, выражение, всегда возвращающее мне понимание того, как относительно мое, сиюминутное восприятие мира. Как-то так сердечно прозвучал твой голос... И в голосе и во взгляде было как бы тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевший ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне.

Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно. Я злился на себя из-за того, что оно возвращалось, вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сорон, трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу и в небе летала вода.

Гроза уже утихала над нашим кровом. Она уходила частью дальше, частью выдыхалась, хотя дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженной зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «спидола» негромко играла чью-то прекрасную музыку. Было слышно, как с крыши капает последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике. Кажется, эта была одна из шопеновских мазурок. Та самая, в которой слышится спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И оттого, что в доме струилась эта светлая, прекрасная му-



зыка, что в твоём голосе была поддержка, и дружба, и мужество, хотелось снова что-то делать в этом непостижимом мире для людей и для времени.

Когда мы уходили с Бобришного, я слышал, как у дома тихо ропотали сосновые кроны. Мерцала река. Кукушка молчала. На твоём окне так и остались синие лесные цветы и томик Толстого.

Теперь Бобришный угощ спит под холодным снегом. Наверное, сейчас там ясная морозная тишина. Река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в непогоду в остывшей печке свистит ветер. Домик ждёт весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени.

1967

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Фотоальбом . . . . .                                                                                      | 5         |
| От составителя . . . . .                                                                                  | 17        |
| <b>ПИСАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ . . . . .</b>                                                             | <b>21</b> |
| <b>ПОСВЯЩАЕТСЯ АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ. Лирический ве-</b>                                                       |           |
| <b>нок поэту и человеку . . . . .</b>                                                                     | <b>27</b> |
| Николай Рубцов. Последний пароход . . . . .                                                               | 29        |
| Сергей Орлов. Курортники . . . . .                                                                        | 31        |
| Олег Кванин. Из воспоминаний об Александре Яшине                                                          | 32        |
| Ольга Фоккина. Памяти Александра Яшина . . . . .                                                          | 33        |
| Леонид Решетников. Александр Яшин . . . . .                                                               | 34        |
| Виктор Коротаев. «К нему сегодня все идут с<br>цветами...» «Всю жизнь ходивший против ветра...» . . . . . | 36        |
| Александр Романов. Улица Александра Яшина.<br>Поэты. Яшин. Встреча на улице. . . . .                      | 38        |
| Геннадий Серебряков. Сажаю рябину . . . . .                                                               | 41        |
| Борис Чулков. «Пристально просматривая время...»                                                          | 44        |
| Лев Озеров. Одна строка . . . . .                                                                         | 45        |
| Юрий Леднев. Бобришный угор . . . . .                                                                     | 46        |
| Евгений Евтушенко. Памятники Яшину . . . . .                                                              | 48        |
| Михаил Яшин. Другьям отца . . . . .                                                                       | 50        |
| Анатолий Передреев. Александру Яшину . . . . .                                                            | 51        |
| <b>ВОСПОМИНАНИЯ . . . . .</b>                                                                             | <b>53</b> |
| Василий Оботуров. Вместе с Яшиным . . . . .                                                               | 55        |
| Авенир Борисов. В дни юности... . . . .                                                                   | 72        |
| Александр Пшеничников. Неповторимое, не-<br>забываемое... . . . .                                         | 75        |
| Вадим Каплин, Георгий Мокин. Одержимость                                                                  | 96        |
| Александр Белов. По-землячески... . . . .                                                                 | 114       |
| Всеволод Азаров. Отвечая «Яшинской рябинке»...                                                            | 122       |
| Николай Жерпак. Какой огонь пылал в его душе..                                                            | 128       |
| Борис Чулков. «Спешите делать добрые дела!..»                                                             | 135       |
| Алексей Павлов. По правде, по совести . . . . .                                                           | 139       |
| Федор Абрамов. «Семь верет до небес» . . . . .                                                            | 149       |
| Михаил Гурьев. На улице Яшина . . . . .                                                                   | 167       |
| Михаил Субботин. Склоняю голову... . . . .                                                                | 171       |
| Александр Романов. Яшинские письма . . . . .                                                              | 183       |
| Василий Белов. Бобришный угор . . . . .                                                                   | 195       |

## **ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ**

**Александр Яшин в воспоминаниях северян**

Редактор **В. К. Лиханова**

Художник **А. И. Савин**

Портрет Яшина работы **Ю. А. Воронова**

Художественный редактор **Д. А. Трубин**

Технический редактор **Н. Н. Гаврилова**

Корректор **В. А. Фокина**

ИБ № 846

Сдано в набор 27.05.88. Подписано в печать 11.07.88. ГЕО5290.  
Формат 84×108<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Высокая печать.  
Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 10,514. Тираж 10 000 экз.  
Заказ 3359. Цена 1 руб. 10 коп.

Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение,  
160000. Вологда, ул. Урицкого, 2.

Областная типография, 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.





